

Мелкий принц



современная
проза

Борис Лейбов
Мелкий принц

Издательство "Livebook/Гаятри"

2023

УДК 82-3
ББК 84

Лейбов Б.

Мелкий принц / Б. Лейбов — Издательство "Livebook/Гаятри" ,
2023

ISBN 978-5-907428-97-3

Новая книга Бориса Лейбова посвящена детству, проведенному в Москве и Подмосковье, и юности, тесно связанной с эмиграцией – жизнью на Кипре и во Франции в конце 1990-х годов. Привязанность к родителям, бабушке и деду, первая и, конечно, безответная любовь, подростковая дружба создают настоящий драматический клубок. Из него ткется полная фантазий и грубой реальности история взросления, превращения из мальчика в мужчину. В этой книге очень много всего. Здесь и атмосферный слепок эпохи с ее опасными поворотами судьбы. И любовное вглядывание в жизнь, потому что для автора важна каждая деталь: шуршание травы, шум дождя, первая зимняя метель... И щемящая тоска по оставленному в прошлом. И осторожный интерес к новому. Автобиографическая, лиричная, ностальгическая книга Лейбова, финалиста премии Марка Алданова, напоминает о лучших образцах русской прозы – от «Жизни Арсеньева» Ивана Бунина до творчества Александра Иличевского.

УДК 82-3

ББК 84

ISBN 978-5-907428-97-3

© Лейбов Б., 2023
© Издательство "Livebook/
Гаятри" , 2023

Содержание

Мелкий принц	6
I	6
II	13
III	22
IV	29
Конец ознакомительного фрагмента.	34

Борис Лейбов

Мелкий принц

моим родителям

Фото автора Лиш Гельдман

© Борис Лейбов, текст, 2023

© ООО «Издательство «Лайвбук», 2023

Мелкий принц Повесть

I

Угол Ленинского и Пилюгина

В полдень, в воскресенье, когда ударил колокол собора Богоматери и... Нет. Было что-то еще, до того...

– Так кто твои родители? Дома, в Москве? – переспросил однажды мой одноклассник из Перу.

Мы стояли на палубе. Катер шел от острова Святой Маргариты до Канн. Меня тошнило.
– Май мазер из э тичер энд май фазер из эн инженер.

Я не солгал. Мой отец и правда был инженером, года до девяностого. Разбирался в электромагнитных волнах, в радиусах радиационного поражения и работал на предприятии, выпускающем приемники. Военственное высшее вылилось в пшик, примерно как стреляет пробка из вчерашнего выдохшегося шампанского.

– Вот если б сейчас напали немцы, мы бы их заровняли в три дня, с таким-то оружием.
«С каким? – думал я. – С радиоприемником „Волна“?»

Мне вспоминаются редкие, ничем не примечательные случаи, как этот. Он говорит про нападение немцев, про наше оружие, а мы стоим зимой на застекленном балконе, перед нами бесчисленная армия типовых домов, уходящих за поле зрения. Все эти воспоминания, теплые, как байковое одеяло, и тусклые, как свет в окне противоположного дома в метель. Теперь они кажутся осколками чужого сна. За тридцать лет память выходит за контуры действительности и где-то меркнет, а где-то дополняется искусственным светом. Мы заходим обратно в квартиру-двушку с невысоким потолком и зелеными обоями. Отец шуршит тапками в сторону кухни. Через несколько минут засвистит чайник. Я осторожно трясую маму за плечо. Она спит после работы, которую не любит. Мама – учительница немецкого языка и ездит каждое утро за тридевять земель, в Марьину Рошу. Маленькому мне кажется, что я разгадал причину ее грусти. Все вырастают и перестают ходить в школу, а она нет.

Что жизнь будет болезненной, мне дали понять в день моего рождения. Март, серый снег, родильное отделение, упирающееся всеми окнами в уродливый, данный москвичам как будто в наказание универмаг «Москва». Белая больница с серыми швами между блоков, первые полметра которой зачем-то выкрашены бурой краской, похожей на густую выблеванную кровь. Впоследствии ею измажут и мой детский сад, и мою поликлинику, и школу. О жестяной подоконник капель с горбатых сосулк. Гремит от талого снега желоб. Скрежет лопаты дворника в утренней темноте, и ночные зеленые коридоры палат с мерцающими плафонами, горящими через один. Хватило бы и этого. Но меня подняли и поднесли показать матери, а она не успела привстать и полюбоваться почти что пятикилограммовым человеком, отправившим ее в хирургию, чуть только появился на свет. Мама меня не рассмотрела. Я выскользнул из акушерских рук и, пока летел навстречу кафельному полу, рассек голову об угол железной кровати. Тьма-свет-тьма. Когда вдруг всем разрешили говорить с телеэкрана про Бога и на меня, впечатлительного, вылились сотни историй про загробный мир, полеты души, Вселенную, энергетические поля и прочий вздор, я заметил, что все повторяют одну и ту же банальную историю. Сказку про свет в конце тоннеля. Я понял, что там на самом деле происходит с умирающими, но стеснялся поделиться с кем-либо своей догадкой. Просто в момент смерти,

думал я, мы проигрываем свое первое воспоминание – выход из пизды на свет. Вот и вся магия. Вот и весь тоннель.

Нас обоих подшили и выписали на поруки инженера-отца. Дальше я рос как все, в белом вытянутом доме, все на том же Ленинском проспекте, но только в конце. Ходил из дома в сад, из сада домой, из дома в школу, из школы во двор... Взрослым я себя почувствовал с первыми признаками стыда. Я стеснялся большой дутой куртки отца и красной шапки-петушка со спартаковской «С» на боку. Он не понимал, отчего я вдруг разлюбил санки и игру в снежки – к тому же мне всегда разрешалось быть красногвардейцем, а ему из раза в раз приходилось быть белым и погибать, как врагу и положено. Санки, санки... Это сейчас они кажутся желтыми деревяшками на тупых полозьях, а тогда они были моей тачанкой, а любая сухая ветка, отобранная у щенка, – пулеметом «Максим». В школе я обзавелся лучшим другом Федором и с отцом уже больше не гулял.

Первое мое эротическое переживание пришлось на осень восемьдесят девятого года, а второе уже на весну девяностого. В газетном киоске под домом продавались эмалированные звездочки, плоские, металлические. Мне же бабушка привезла необыкновенную. Наверное потому, что жила она около Кремля, а там необыкновенным было все. Моя – пластмассовая, объемная, рубинового цвета, а в кружке по центру замер и не моргает черно-белый Ульянов-мальчик. Когда на линейке после принятия в октябрят я услышал свою фамилию (вызывали вперед держателя знамени), я понял, что дело в блатной звездочке. Трепещите, черти, у меня связи в центре! Когда мне дали флаг с золотой кисточкой и серпом на пике, а на руки меня взяла старшеклассница, вот тогда я и понял всем телом, что любовь выше других прочих чувств в этой жалкой жизни. Я не вспомню ее лица – нет. Позади играла труба. Плелись в хвосте одноклассники. Я нес родной стяг, а она, большая и теплая, несла меня. Моя щека лежала на ее налитой груди, и, покачиваясь на ней, я все меньше думал о родине и все больше о сладкой близости молочного родника.

Следующее эротическое потрясение я испытал ближе к лету, на излете первого учебного года. Я чем-то по обыкновению болел – ангиной, трахеитом, бронхитом, тонзиллитом или всем сразу. Бабушка приходила следом за болезнью и раздвигала никчемных родителей с их антибиотиками, как шторы. И на меня рекой лился уксус, кипяченый боржомом и прополисом. Была еще одна пытка, одиннадцатая египетская казнь. Бабушка варила в кастрюле по два яйца, и они переносились из кипятка мне на щеки. Велено было не дергаться и терпеть, потому что «мужик». И я тихо скулил, стискивая челюсти. Я понимал, что она спасает мои пазухи, а ожоги под глазами – что ж, это цена победы. Вставать мне воспрещалось, а разрешалось лежать, слушать доносившиеся в форточку голоса и читать. Так за первый год и за четыре его двухнедельные болезни я прочел «Мушкетеров» и «Монте-Кристо» – суповой набор советского школьника. Я лежал с жаром, держал том, как молитвослов, и представлял себе Францию, в которой ни за что не окажусь. Франция мне казалась одной большой усадьбой Кусково, где барышни сплошь все стянуты корсетами, напудрены, нарумянены и имеют вырез такой глубины, что можно спутать грудь с задницей. В этой Франции мне было хорошо, чувствовалось сдержанное томление плоти, но настоящее жгучее чувство пробудила американская литература – Марк Твен. Бабушка варила яйца, а я держался за свои и дышал часто и глубоко. Книжная гравюра запускала сердце, и оно билось, как будто рвалось вулканом из моего чахлого тела. На черно-белой картинке девочка Бекки склонялась над столом с задранной юбкой. Она стояла спиной ко мне, а я почти что сидел на первой парте. Чулки тянулись до самого интересного места, где ноги ширились и сходились, округляясь в зад, а над девочкой стоял учитель, замахнувшийся розгой. Я не мог простить картине ее неподвижность. «Давай, – мысленно молил я, – стегни!» И сердце несло тошей гончей, а бабушка уже шла в мою спальню, а я отводил от лица книгу и слушал, как бьются боками вареные яйца на дне кастрюли.

Дворовая жизнь была счастливой, и я не поменял бы свой двор ни на один другой в Москве. С Федором мы делили качели, после того как целый день делили парту. С Федором же ходили в директорскую с поникшими головами. С ним же лазали на гаражи смотреть голубятню нашего физрука дяди Вити. Федор был меня мельче, но куда отважней. Он первый лез в драки, не раздумывая бросался мне на выручку и, казалось, не замечал ни размеров противника, ни его возраста. Он был совершенно слеп к чужим преимуществам. У нас была одна четырехкнопочная игра на двоих, та, где волк ловил яйца. Стоила она двадцать пять рублей, и мы купили ее вскладчину в магазине «Электроника», куда нам воспрещалось ходить одним, так как это было за пределами Пилюгинской вотчины, по другую сторону Воронцовского парка, в совсем чужих дворах, почти что за границей. Игра жила день у него, другой у меня, то есть каталась на лифте с его третьего до моего девятого, так ни разу не покинув подъезд.

Однажды, всего однажды, я видел, как Федор плачет. Он был крепким мальчиком с ясными голубыми глазами, русыми волосами, широкими скулами, кривой улыбкой и волевым лицом фельдшера провинциального города, с каким можно было только родиться. Он как будто пришел в мир с готовым знанием, что жизнь будет сложной задачей. Когда папа рассказывал про оружие, способное остановить немцев, я думал: так вот же оно – Федор. Он не плакал, когда посадили его отца. Не плакал, когда любовник мамы, тети Кати, красивой смуглой молдаванки, изуродовал ей из пьяной ревности лицо. Но он плакал, когда подумал, что я умер. В тот год, в девяностый, постоянно пропадал свет. Провода манили медными проволоками воров. Учебный год почти закончился, мы плелись из школы и ни о чем не говорили, ведь за год переговорено было все. Мы просто шли и молча наслаждались дружбой.

– Голубятня! – Федор остановился.

Дверца самостроенной голубятни была открыта, чего никогда не бывало прежде. Глупые птицы не осознали еще своей возможности, а может, свобода их просто не манила. Но как бы там ни было, мы сочли своим долгом выручить забывчивого дядю Витю. Первым влез Федор. Он был ловким, примечал выступы в стене, упирался в них мысками и подтягивался на жилистых руках. Я так не умел, и шел вверх по стене, держась за толстый срезанный кабель, как за канат. Он уже запер дверь и шел ко мне навстречу. Металлические листы крыши грохотали под его школьными ботиночками. Они тогда были у всех одинаковые, коричневые, из универсама «Москва».

– Брось кабель, дурак! – он ускорил шаг.

– Да он обесточен, – я улыбнулся, посмотрел, как запертые голуби опомнились и запоздало заходили по кругу в поисках выхода, и обхватил канат полуметром выше, там, где расходилась резиновая обшивка и блестели медные переплетения.

Никакого света в конце тоннеля! Я так и знал. Ничего. Ни белого, ни черного, ничего. Монтаж. Пять минут беспамьяства вырезаны как испорченные кадры. Вот только что Федор шел по крыше, а теперь стоит надо мной и плачет, а у меня под носом растеклись кровавые усы.

– Борька! – он полез обниматься, но остановился и смущенно отвернулся, вытирая рукавом глаза. К нам уже бежали взрослые и милиционер, но, к моему удивлению, толпа обогнула нас и устремилась в конец гаражного ряда, к кустам черноплодки под самодельными клетками с голубями. Мертвого дядю Витю несли трое. Руки его висели над землей, как только у мертвого и могут, а из почерневшего с одного бока свитера торчала рукоятка. Федор помог мне встать, больше он не плакал, а с сентября к нам пришел новый физрук, которого мы не приняли и демонстративно не отжимались.

– Сам куврыкайся на матах, – о таком нас мог просить только дядя Витя, потому что был добрым и давал поить птиц из ладоней.

Настоящие перемены я почувствовал в девяносто первом, в третьем классе, и они не были связаны ни с путчем, ни с ГКЧП. Когда тебе десять и ты живешь на окраине города, а за рядами домов виднеется лесополоса с загробным названием «Тропарево», то тебе до седой

пизды танки на Смоленке. Смоленку эту вашу я видел только раз, из окна дедушкиной «Волги» по дороге на Кремлевскую елку, такую же душную, как новость про танки. Наши с Федором дела обстояли покруче. В двухлетний наш союз добавился мальчик Сережа и преобразовал нас в тройку. Сережа перешел в нашу школу после лета, учился средне, был тихим, не докучал и был из тех, кто подолгу смотрит на уроке в окно грустными глазами, – своим. Кандидатуру его мы одобрили единогласно. Он жил с мамой в доме напротив нашего. Его отец служил в Китае, в посольстве, и у Сережи было много полезных вещей, например видеоплеер. А еще Сережины глаза смотрели в разные стороны, что придавало его лицу непроходящее выражение незащитности. Мы ласково звали Серегу Перекрестком и однажды долго пинали одноклассника Славу, когда тот назвал его косым. Слава был тем самым маленьким убудком, какие были в каждом дворе. Он понаехал и прибил только в третьем. Родом он был из Малоярославца и имел полные карманы пасторальных рассказов о суровом прошлом. Вечно у него кто-то там утонул, когда переплывал какую-то реку, и постоянно кто-то сидел. Причем дальние – какие-то двоюродные и троюродные. Федор был честнее и резче меня и никогда не дослушивал Славкины рассказы, демонстративно перебивал его чем-то действительно интересным. Еще Слава хвастал, что уже пил водку стаканами, и даже нам, десятилетним, было смешно.

– Косой, – позвал он Сережу на долгой перемене, а Сережа насупился.

Мы знали, что он ранимый мальчик, хоть виду и не подавал.

– Какой он тебе косой? – я вмешался.

И здесь первый раз в жизни я узнал о глубине человеческого равнодушия.

– А тебя чужое горе ебет, что ли? – спросил меня Славик и сплюнул, мерзко так, жирной слизью мне под ноги.

Прозвонил конец перемены. Молчаливый Федор ударил обидчика в шею. Резко, без объявления войны. Слава повалился, и мы еще с минуту восстанавливали справедливость ногами, все теми же коричневыми ботинками из универмага, хотя поговаривали, что рыночная экономика уже работала.

Вечером позвонили в дверь. Мама мешала мельхиоровой ложечкой сахар в чае. В кухне стояло ритмичное лязганье металла, задевающего стеклянные грани. Свет с люстры в зеленом абажуре падал на мамины длинные белые пальцы. Она недавно уволилась и с тех пор стала несколько плавной и медлительной.

– Посмотри, кто там, – она не отводила глаз от чая.

Я отпер и тотчас почувствовал ледяную руку на горле. За внушительным рабочим в спецодежде, в ногах, прятался побитый Славка. Отец, понял я.

На мое счастье, папа был дома. Он с друзьями-инженерами играл в своей комнате в деберц. Мама бросилась на моего обидчика. Мужик неуклюже ее отвел, да так, что она врезалась в шкаф и пустые обувные коробки посыпались на нее. За моей спиной появился папа. Затем его друг, папа Антона – мальчика из параллельного класса, и еще один человек, папа неизвестно чей, в мохеровом свитере, с русыми усами и длинными волосами на затылке. Они прошли мимо нас, как какие-то тени или призраки, без единого слова. Мама оказалась на ногах, шея моя высвободилась, а рабочий со своим жестоким сыном исчезли за дверью. «Ну мужики», – слышался его грохочущий голос, и больше ничего. Славка в школе больше никогда не появлялся. Мама велела не болтать о случившемся никому, а Федор высказал мне свое предположение – в Ярославль вернулся. Не выдержал Москвы.

– Он из Малоярославца, – поправил я.

– Да? – пожал плечами Федор и вряд ли дома потом искал эти города на карте.

Больше мы о Славке не вспоминали и дружили дальше втроем с Сережей Перекрестком.

В ночь папиного заступничества мама пришла посидеть у моей кровати. Она водила ногтем по моей голове, отчего по телу бегали врассыпную мурашки. Я узнал, что папа больше не инженер, он теперь коммерсант. Она больше не учительница, потому что это никому не надо,

вообще никому, и ей тоже. А мне надо налегать на английский, вот прямо со следующего понедельника. Я не уловил связи между всеми этими новостями, и пускай. Я отвернулся к окну. За окном дом близнец. Поджал ноги, зевнул. Напрашивался вывод о круговороте насилия в обществе и о том, что виновные в первую очередь – Федор и я. Напрашивался, но не напросился, и я заснул.

Мертвый уже Цой, поющий из каждой второй форточкой, накаркал. Перемены пришлось на девяносто второй. Я стал реже появляться во дворе. Без меня Федор подолгу висел вниз головой на паутинке, скрипел качелями и пинал мяч о нарисованные на стене котельной ворота. Мама забирала меня после школы, и мы шли безымянными переулками новых районов к учительнице английского. Полина Васильевна была невысокой тихой пенсионеркой. Она поила маму чаем и говорила с ней по-русски. Мне же в ее доме говорить на родном воспрещалось. Уроки были необычными, никаких презент паст и презент континиус, никаких бесцельных прогулок по воображаемому Лондону. Она заставляла меня говорить обо всем, но только по-английски, причем она отвечала на том английском, который слышен в фильмах в просветах гайморитной русской озвучки. На настоящем. Кроме как о Федоре да о школе, мне было особо не о чем рассказать, ничего другого я не знал и ничем шибко не интересовался. Она качала головой, упрекала после занятия маму, что я плохо развит. Однажды она пришла в школу и зашла во время урока английского в класс. Изумленную учительницу она спросила, почему та поставила ей четыре. Полина Васильевна положила мой дневник на стол. После выяснилось, что мама высказалась из-за моих четверок с минусом, а Полина Васильевна приняла это чрезвычайно лично. А также весь мой четвертый «В» узнал, что она полковник КГБ в отставке, и что не одному поколению поставила британский акцент, и что Ирине Игоревне, несчастной, стоит воротиться в Рязань и ставить четверки там. «Хау ду ю ду», – передразнила среднерусский английский акцент возрастная полковник и вышла, оставив за собой распахнутую дверь. Ирина Игоревна расплакалась, нарисовала мне красные пятерки авансом до конца четверти и больше со мной не заговаривала и не здоровалась никогда.

Однажды, в последние дни ноября, мы шли по рано потемневшим аллеям, вдоль самосвальных шин, в которых летом цветут анютины глазки, и заблудились. Полил ледяной дождь. Мама добежала до угла дома, попыталась отыскать то место, где мы повернули в неправильную сторону, как вдруг села на угол лавочки и расплакалась. Я подошел и обнял ее. Она еще была меня выше. Хотелось сказать что-то умное, что-то из ряда вон выходящее, и я сказал – да ладно, ма, это просто вода. И сработало. Она собралась, взяла меня за руку, и через холодную воду мы пошли наугад. А вечером позвонила Полина Васильевна и сказала, что занятий больше не будет, повесился ее сын. Я выдохнул и со следующего дня вернулся во двор.

Третье мое столкновение с эротической стороной мира взрослых приключилось у Сережи на дому. Черные кассеты, бережно расставленные на книжной полке в алфавитном порядке, были засмотрены до тошноты. Мы говорили цитатами из третьесортных лент, где справедливость и упорство брали верх над корыстью и бесчестьем.

– Ну что, Борян, не отступать и не сдаваться?

– Не отступать и не сдаваться, Федь!

И мы лезли вверх на несчастный дворовой тополь. Нет! Мы его покоряли. Брали его ствол штурмом. Заламывали его руковетви.

«Новый фильм», – прислал записку Сережа.

И на перемене взволнованно рекламировал ленту: «Это будет что-то с чем-то». На кассете не было наклейки с названием, как на прочих. Мне был знаком мелкий каллиграфический почерк Сережиной мамы. «Кровавый спорт» – буквы кланялись до земли, и «Доспехи бога» строчкой ниже. Ее заглавное «Д» напоминало динамовское. Оно тоже имело парус, но более скромный, как будто записанный в штиль. Отсутствие названия и место хранения – сейф в шкафу с бронебойным паролем из четырех единиц – подтолкнули Сережу к выводу, что перед

нами боевик невиданной жестокости, иначе зачем было прятать. Отчасти он был прав. Первые минут пять мы напряженно разглядывали экран. Серые полосы елозили по вертикали и приходилось вглядываться между этих строк. Говорили на китайском, группа мужчин. Было непривычно не слышать гундосый голос, который заодно и объяснил бы нам, что надпись на двери означает «туалет». Но туалета за дверью не было. Дверь вела на склад. Китайцы вошли внутрь, за ними следовала непривычно дерганая камера. В центр телеэкрана вывели женщину с завязанными глазами, а в руке одного из мужчин появился желтый предмет. Еще минуту мы смотрели как в ревушую женщину засовывали предмет, в котором я не сразу узнал початок кукурузы. В какой-то момент нам троим стало понятно, что эти люди не актеры. Ее обморок был более реалистичным, чем те, что я видел в советских производственных драмах. Боль и отчаянье были неподдельными. Сережа выдернул шнур, потушив телевизор, и мы какое-то недолгое время стояли молча, в растерянности, как будто убили кого-то и не знали, что теперь с этим знанием делать. Федор вышел, ничего не сказав. Я почему-то подумал, что он направился напрямик к себе проверить маму. Знать, он видел или слышал то, о чем нам не рассказывал. Мы и так не могли хвастать загаром, но таким белым я его еще не видел. Такое лицо бывает у полярника в буран. Белое с фиолетовым отливом, как у мешков под цветными глазами. Сережа был в ужасе и явно бы повернул ход времени, если б мог. А мне, пожалуй, было хуже всех. Я познакомился с неизвестными доселе муками совести.

– Муки совести? Очень приятно, Боря.

Жалость и сострадание к несчастной не уживались в одном теле с первой эрекцией, которая не позволяла стоять прямо, и я пятился к двери, давая Сереже отвлекающие советы, как вернуть кассету на место, вести себя естественно и ни при каких обстоятельствах не сознаваться ни в чем. Ни за что не признавайтесь – учили старшие. И я долго потом не мог признаться, что еще целый год после увиденного эпизода думал, что для чуда рождения требуется участие нескольких мужчин, одной женщины и початка кукурузы. Так, что ли, рождаются дети кукурузы? – гадал я. Мы смотрели этот ужастик с Федором. Брали в прокате, на улице Кравченко через дорогу. И, по правде сказать, он нас не напугал и не впечатлил. Не то что китайская документалка.

Каждое утро по дороге в школу мы проходили мимо гранитного постамента. Над нашими головами, спрятанными в шапки и капюшоны и перевязанными шарфами с кисточками, высился стальной венок из пшеницы, обмотанный замершей навеки лентой – «СССР оплот мира». Мой аквариумный мир, тесный, черно-белый, родной, развалился в три односложных предложения.

– Собирайтесь. Держите паспорта. Мы едем в Шереметьево.

– Союз развалили, – будут в моей будущей жизни на острове скрипеть старики, а мне будет казаться, что развалили мой личный союз, союз с Федором, сорок седьмой школой, мертвым дядей Витей и моей бывшей учительницей Полиной Васильевной, по которой я втайне скучал, хоть и вернулся во двор.

Я не знал, что прогулка под металлической громадиной была последней, в тот день. Это был вторник. Первый учебный день после новогодних каникул. Новый 93-й я встретил на Ордынке у бабушки и дедушки. Елка стояла в гостиной, увенчанная трубящими ангелами и голубыми гирляндами. Под ней в полночь я развернул свой подарок – аккордеон. Эту неожиданную вещь я бросил в России уже через какую-то неделю и впоследствии никогда ее больше не видел. Ели салаты. На сладкое бабушка достала два банана, один целый мне, и второй они с дедом поделили поровну. Позже, когда разошлись по спальням, я все не мог заснуть. Была выюжная ночь. Мне было хорошо в их доме. В нем я чувствовал себя еще более маленьким, чем был в действительности. Возможно, из-за высоких потолков и эркерных окон. Половицы в старинной квартире стонали как раненый зверек, и я замирал после каждого шага и выжидал. Дойдя до цели, я взобрался на широкий подоконник, поджал колени и уселся в нише, присло-

нив висок к стеклу. С той стороны двойной рамы окно было исписано морозными узорами, а под окном намело невысокий сугроб, истоптанный птичьими трехпальными следами. Окно спальни смотрело на безлюдную Полянку – ни души, только редкие машины, чьих тормозных фар красный свет преломлялся в узорчатом стекле, как в калейдоскопе. Было спокойно. Спокойствие пребывания среди своих и на своем месте.

Отец вскоре отвез нас в аэропорт. В первый учебный день я застал его дома неожиданно рано, в обеденное время.

– Собирайтесь. Держите паспорта. Мы едем в Шереметьево.

В ночь, которую я провел в старом доме на Большой Ордынке, убили маму Антона – мальчика из параллельного класса. Папиному другу, тоже бывшему инженеру, отцу Антона, позвонили в дверь. На звонок с голосом поющей птицы подошла жена папиного друга, мама Антона. Она отворила. Убедилась, что в коридоре никого. Сняла цепочку и распахнула металлическую бронированную дверь настежь.

– Хулиганили, – сказала она, обернувшись в сторону гостиной, из которой только что и вышла, в халате, с полотенцем на голове.

Следствие не разобралось, выдернула ли натянутая леска чеку, когда она только приоткрыла дверь, либо когда отворила ее настежь. Разорвавшаяся граната оторвала ей обе ноги, и умерла она в скорой, по дороге в Склиф, не приходя в сознание, от потери крови.

Антон вылетал с нами одним рейсом в сопровождении бабушки – высокой статной дамы Милицы Иосифовны. И ей, и ему папа Антона солгал. Они еще долго думали, что их мама и невестка жива и однажды, скоро, обязательно поправится.

Смерть эта, я слушал у двери, была связана с мебельным магазином наших пап. А я и не знал про него. Мебель! Ну надо же! И выходило так, что с мебелью отцам придется остаться, а нам, совсем ненадолго, повезет пожить на Кипре. Пока мебельная буря не уляжется. Мне дали десять минут попрощаться с Федором. Из подъезда выходить было нельзя – это я зарубил на носу, благо он был уже огромным, опередив остального меня в росте. Я собрал самое ценное – книгу с картинкой Бекки Тэтчер, щучий череп, добытый летом на Оке, и фотоаппарат-полароид, подаренный всеми родственниками вместе на прошлый день рождения. Федора дома не оказалось. Мы выехали из двора на Пилюгина, на первом светофоре повернули на Ленинский, я в последний раз увидел постамент и школу с четырьмя белыми колоннами и высокой дверью. Мы уезжали не насовсем. Мама вцепилась в мою руку и смотрела перед собой. Отец проверял документы и считал деньги. Вез нас отцов усатый друг в зеленом мохеровом свитере. Мы уезжали ненадолго, хотя остались на два года. Ни в наш дом, ни в свою школу я больше не вернусь. Если б я знал это тогда, сидя на заднем сиденье «Волги», глядя мамины холодные руки, я бы разревелся. А так, с мыслью про ненадолго, я просто зажмурил глаза, чтобы притормозить набег слез. Открыл я их только где-то в центре, на Садовом, и спросил, где мы.

– На Смоленке, – сказал отец.

Люди на тротуаре придерживали высокие шапки и поворачивались спиной к ветру. Мело. И город был белым. И зима была русской. И был вторник.

II Средиземноморье

Как не полюбить чужую природу? Не принять ее красоту? Рассветную сталь большой воды? Ее переменчивость? Ветер, сдувающий пену с волны, что мужик белую шляпку с пивной кружки? И внезапную морскую паузу. Побушевало и стихло, как ночной кашель. Анемичные паруса безропотно повисли, и полетел с высоты редкий дождь. И все это они зовут зимой, Федор! А ночью вдруг проснется сквозь вату тумана злоеющая бледнолицая луна и щерится на берег.

Нет! На берег!

Развиднеется. Блеснет серебряной лужицей широкий пальмовый лист, как погон звездочкой. Тревожно присвистнет попугай и возмет голову, съезжится, поводит по крылу горбатым клювом. Несговорчивый буй не покорится волнению моря и будет барахтаться вопреки обступившей его вероятной смерти.

В такой манере я мысленно отвечал на письма Федора. В первые месяцы они приходили регулярно. Затем, к лету, их частота поредела, как и мои высокопарные ответы, которые улетучивались при первом взгляде на чистый лист. Федор писал, как Леша Левченко сломал ногу, пробив берцовой костью штангу, и как он корчился на нашей коробке за домом. Писал, как въебал моему неприятелю Артему Бобырю по старой памяти. Была еще новость – Кирюша Романов, как оказалось, был пидором не только по жизни, но и в натуре, и я спросил тогда маму про пидоров в натуре – ну кто они?

– Это как Валерий Леонтьев или как Фредди Меркьюри, – объяснила мама. – Женственные.

Ни тот ни другой женственными не были. Дело было не в этом. Я уже вошел в возраст недоверия к взрослым и допускал, что мама не лукавит, а просто сама в пидорах не сильна.

Федору я отвечал односложно – на дворе тепло, русские в их февраль плавают, я окружен фруктами и скучаю. Разноцветных плодов я и правда раньше не видел в таком изобилии. На балконе нашей однокомнатной квартиры помещался белый пластмассовый столик, на нем – глубокая салатница, и в ней связка бананов, как на голове все того же Фредди Меркьюри в том клипе, где он «гоинг слайтли мэд».

Последнее письмо с «Ленинским пр. д. 99, к. 4» на обратной стороне конверта пришло в мае, когда распустились акации. Воздух с самого рассвета стоял душистый, а липкое тело само несло к набережной, голову не спросив. Федор вырос, понял я, дочитав вырванный из тетради по русскому листок с косыми вертикальными полосами. Он сообщил, что уже дважды сосался с Таней Вончуговой, и что она теперь его *баба*, и что его мама, красивая молдаванка, тетя Катя, разрешила взять Таню с собой на дачу на лето, и там, на даче, у них, у Федора и Тани, случится секс, о чем он, Федор, мне обязательно напишет. Больше он не писал. А я не спросил его про Таню, когда мы увиделись два года спустя. Я сложил исписанную бумажку в простой кораблик, без трубы, и шелкнул по его хлипкой корме указательным пальцем. Тот упал с пирса в Средиземное море, размяк и исчез, закруженный волной. Была весна девяносто пятого, мне было тринадцать, я болтал, свесившись с края скрипучего пирса, ногами и грустил о том, что детство кончилось, а мне уже наверняка не даст ни Вончугова, ни любая другая. По перилам шлялась легкомысленная чайка и заглядывала мне в глаза, вытянув и искривив шею. Из приемника загорающих неслись песни «Агаты Кристи», прерываемые изредка всплеском на волнорезах. «Агата Кристи» тогда подвывала из многих проржавевших машин. В них не было кондиционеров, как в машинах греков-островитян, и окна были спущены. Других машин в русском квартале не было, вот и приходилось слушать всякое, если вдруг не повезло, и бата-

рейки в плееере сели, и Дэвид Боуи смолк, предварительно пропев чужим баритоном медленный куплет и зажевав песню.

Из ребят нового двора я один ходил в школу. Мы могли бы жить с мамой в лучшем районе и в большей квартире, а может быть даже и в маленьком доме в горах, но больше половины присылаемых из Москвы денег забирала английская школа. Прочие матери так не заморачивались. Тогда многие пересиживали свои мебельные войны и относились к новой среде обитания как к профилакторию, откуда обязательно выпустят, как только выздоровеет родная страна.

В ателье пожилой карикатурный англичанин с карандашом за ухом и измерительной лентой на шее сшил мне костюм. В школу полагалось ходить в серой тройке. Добавились блестящие широконосые туфли, и общая стоимость моей формы превысила помесечную арендную плату за квартиру. В ту ночь я видел, как мама плакала на балконе и курила. Сигарета дрожала в ее тонких пальцах. Когда я проснулся, она спала рядом. В первые месяцы мы еще не обзавелись диваном и спали в одной кровати, что было непривычным, как и отсутствие собственной комнаты с собственным окном на кооперативные гаражи и пустующую второй год голубятню.

В новой школе друзей я не завел, впрочем как и врагов. Ко второму уроку я стал подозревать, что с Полиной Васильевной мы говорили на каком-то другом английском, понятном ей, мне и царствующей королеве Елизавете. Одноклассников я не понимал. У их слов не было окончаний, особенно у лондонцев, и говорили они заметно быстрее, чем Полина Васильевна и я. Думаю, что к пяти часам домой на чай они не неслись и в коверкотовых кепках по вересковым пустошам не прогуливались. Учитель – колониалист, отставной военный, шотландец с розовым загаром, определил мне место в первом ряду. Поговорив со мной на перемене, он оценил мой уровень языка как «немой» и усадил, будто я глухой. Говорил он громко, как Зевс на олимпийской планерке, и, глядя на меня, повторял сказанное.

– Ты понял, Борис?

И тонкие окна подрагивали от вибраций в воздухе. В первый же день в мой бритый по уставу затылок полетели слюнявые бумажки. Старая забава периода моего деда, как мне казалось. В нашей 47-й такой херней не занимались. Особенно усердствовал рыжий мальчик с пэт-эушно-отсутствующим выражением, дегенеративной, выдающейся вперед нижней челюстью и созвездием крупных веснушек на вздернутом носу. Его безыдейно звали Джон, приехал он из Нью-Касла и был в этом питомнике главным приматом. Жеванные комочки летели мне в шею пулеметной очередью. Я обернулся, а он скорчил озадаченность, поднял руку и позвал учителя. «Новенький меня отвлекает!» – пожаловался он, а мне сделали замечание.

На перемене дети разбивались по половому признаку. Девочки убегали на школьный двор к фонтану. Мальчики рассаживались на межэтажных ступенях – единственное место в тени. Я подошел к одноклассникам и окликнул Джона.

– Чего? – он подскочил и подошел вплотную. С ним поднялись трое.

– Ничего, – ответил я и сделал вид, что собираюсь уйти. Группа поддержки расслабилась, развеселилась и двое даже успели сесть обратно на прохладные плиты, когда я развернулся и коротким загаражным ударом в кадык отправил северо-английского задиру в глубокий, но непродолжительный сон. Задира... бабушкино словечко. Так уже прилюдно не скажешь – засмеют. Помню, как-то родителей, еще в Москве, вызвали в школу. Я подрался, вернее был побит, но с представителей поверженной стороны тоже спрашивали. Ни отец, ни мать с работы отпроситься не смогли, и с Большой Ордынки в наше залесье командировали бабушку.

– Тебе придется тоже извиниться и помириться, – сказала она при директоре.

Я потупился и молчал. Шла одна из тех тяжеловесных минут, которые, казалось, не имеют конца, как мальчик в средневековом церковном хоре.

– Тогда я извинюсь за него.

Уже на Ленинском бабушка трянула меня за плечи и разочарованно проговорила:

– А я не догадывалась, что ты драчун...

Я побелел и до подъезда молчал. И оттаял, только когда сообразил, что существительное «драчун» производное от глагола «драться». Задира...

– Он задирает меня, мам, – оправдывался я на следующий день.

Естественно, маму вызвали. Она сидела против меня и молчала, отвернувшись в сторону. На собрании мне пришлось переводить ей, что говорили учитель, директор и мама Джона, такая же рыжая, с тем же отсутствием последовательной мысли в глазах, с толстыми розовыми руками, сдавленными узким коротким рукавом рубашки. Рука эта рубила воздух, демонстрируя, как я едва не сгубил Джона. Если б Джон был кем-то значимым и я взаправду убил бы его, то какие-нибудь мудаки однажды б сняли документалку про него с блевотным названием «Прерванный полет» или что-то вроде того. Мама бы его сотворила что-нибудь немисливо пошлое. Например, сожгла бы лист бумаги и, глядя на язычок, пожирающий край, сказала бы с придыханием: «Вот так и вся моя жизнь», – а зрители этой тошноты обжимали бы подушки перед экранами, всхлипывали и желали мне казни.

Пиздеж в учительской, казалось, не заглухнет веками, и я все меньше вслушивался и все больше представлял передачу, которую уже назвал «поминки по Джону». Мой перевод происшествия редактировался и цензурировался на лету, и маме я объяснил, что ничего такого страшного не произошло, и что я отвесил мальчику «леща», и что в обморок он вошел из-за духоты и неожиданности. Мама не поверила. Она ушла домой, со мной не попрощавшись, а ночью плакала на балконе. В субботу мы звонили в Москву из уличного автомата по карточке стоимостью пять фунтов. Мы звонили раз в неделю, потому что пять фунтов были большими деньгами. Я не отошел, как мне велели, а затерялся вблизи, прислонившись к кабинке с обратной стороны, и подслушал, как она жалуется отцу: «Я с ним не справляюсь». В классе я стал невидимым. Меня обходили, сторонились, чурались, но больше ни одного жеванного шарика в мою голову не прилетало.

Мама, чтобы объяснить себе наше пребывание на острове, занялась моим английским «как следует», сама предметом не владея. Ей не нравились мои друзья во дворе, и она хотела, чтобы я сдружился с одноклассниками. Я на сближение с иностранцами не шел, и бедную свою маму обманывал как маленькую. В книжном на Макариос Авеню мама купила «Войну и мир» на английском, втиснутую в один том, как если б Раневскую затянули в Золушкино платье. Она просчиталась. Да, Толстого я еще не читал, но я смотрел фильм. Как она не подумала об этом? Я плелся с книгой на балкон и усаживался на чемодан, набитый бесполезной теплой одеждой, хранившийся подле столика и служивший лавочкой. Раз в две-три минуты я перелистывал страницу, дешевую и тонкую, какие обнаруживаются в гостиничных библиях, а сам, уперевшись ладонью в щеку, косился на море. Так с час я разглядывал пирс, чаек, силуэты большегрузов на горизонте и белые чесночины парусников. Смотреть не надоедало. Картина не была статичной, и я отвлекался от тоски по дому, от тревоги завтрашнего дня и вынужденного пребывания в чужом классе – моим он так и не стал. Дочитав до отмеренной мамой страницы, я шел в комнату, пересказывая ей то, что только что прочел. Мне удалось растянуть киноэпопею на год. После она одобритительно кивала, что значило «теперь можешь идти», и я сбегал по лестнице наперегонки с пустым лифтом, чтобы побыть собой всего несколько часов в русском дворе.

Русским двором заправлял семнадцатилетний Илья, сбежавший от второго уголовного преследования в Израиле. Год он уже отсидел – это знали все и никто в том не сомневался. Несомненным доказательством была голубая татуировка орла чуть выше сердца, под левой ключицей. Изначально Илья был москвичом и до своих тринадцати жил на Соколе. Он был атлетического сложения, но более сухой, чем ребята из качалки. Ходил он в синих джинсах и белых резиновых шлепанцах. Торс оставался голым даже в дождь. А майка на всякий случай была заправлена за ремень. Но случай, вынудивший ее надеть, так и не представился. Футболка скрыла бы от нас, впечатлительных, наколку, толстую золотую цепь якорного плете-

ния и шестиконечную звезду того же металла. Мое происхождение (москвичей во дворе было немного) сблизило меня с главнокомандующим. Илья угощал сигаретами, пару раз угостил портвейном, а однажды разоткровенничался со мной как с равным и пожаловался на свою женщину, которую он любил, а та в ответ не кончала.

– И что с ней делать... Понятия не имею? Мелкий (это был я), а что бы ты с ней сделал на моем месте?

Я пожал плечами, вдумчиво затянулся, как в кинофильме, и плюнул вдаль, так и не ответив.

– Вот и я не знаю, брат, – и он хлопнул меня по плечу.

Признаться, я не понял ни слова. В свои тринадцать я слышал, что люди кончают университеты, и я точно не знал, что Илье надо с ней сделать, чтобы ей повезло. Достаточно скоро, все в том же дворе, я узнал, что оргазм зовут окончанием, но еще очень долго не знал, что и женщинам он свойственен тоже. Илья разбил нас, русскоязычную шпану, на пары и научил ремеслу. Мне достался мальчик с невыразительным лицом из Ташкента. Его звали Султан. Илья показал, как из скрепки смастерить ключ, открывающий телефонные аппараты, и благословил Султана и меня на пятизвездочные отели. Султан был боязливым и глупым. Он часто матерился не к месту и говорил исключительно о том, что в данный момент видит, слышит или ест. В шортах и цветастых майках, с рюкзаками на спинах, мы ехали в автобусах вдоль протяженной набережной Лимасола до пригорода, где находились отели. Они были похожи на лисички, облюбовавшие трухлявый пенёк, а в нашем случае – мыс, их кучность упрощала работу. Мы входили в фойе через вращающийся барабан двери и шли напрямую к стойке консьержа. Как правило, перед нами вырастал охранник. Говорил я – так определил Илья.

– Подскажите, где автомат? Позвонить надо, – и для убедительности я предъявлял десятипипсовую монету.

Султан нервничал, часто моргал и сглатывал. Он мешал, но для работы были нужны двое. До стойки мы, как правило, не доходили, а шли в указанную охранником сторону. Мужчины в летних костюмах светлых тонов смеялись жирным смехом людей достатка и говорили с дамами уверенными голосами. Дамы в чешуйчатых платьях хихикали, изгибались и отмахивались. Шла охота. Таких ярких зубов я прежде не видел. Я смотрел на эти улыбки, и на языке вертелось – мороз и солнце... Почему? Может быть, потому, что такое белое сияние я видел только в крепкие морозы в подмосковном лесу? Маленьким я представлял, что сугроб – это горб замерзшего верблюда. Он заплутал в метель, присел, заснул, и его замело. Не помню, где именно проходил шелковый путь, но не через Апрелевку точно, об этом я узнал на уроках истории и географии и вырос из той чистой фантазии. Удивительный мир богатых... Я рассматривал этих людей, как рассматривают портреты в картинной галерее, а они из своих несуществующих рам разглядывали только друг друга, в упор не замечая ни меня, ни узбека, пришедших их объебать.

Работа была простой. В прозрачной кабинке мы без затруднений умещались вдвоем. Я имитировал звонок, уверенно и громко разговаривал с отцом, повторяя мамины субботние вопросы, участливо кивал, с расстановкой отвечал тишине. Под боком суетился Султан. Он вскрывал заготовленным заранее ключом приделанный к аппарату поддон, куда ссыпалась мелочь от предыдущих, настоящих междугородных звонков. Если нам везло и монетки не собирали неделю, то каждая гостиница давала до ста фунтов – столько мама платила за квартиру и свет. Рюкзаков было два, и из «Шератона» мы шли во «Времена года», где я снова убедительно тряс монеткой и говорил: «Извините, сэр...» От автомата отходили не мешкая, но осторожно. Оступиться было нельзя, на плечах висело несколько килограммов мелочи, и любое неуклюжее движение прозвенело бы на все высокое лобби. Считали при Илье, в подъезде, на ступеньках его дома. В его квартире никто никогда не бывал. Он справедливо забирал половину, а нашу долю, по четверти, выдавал банкнотами. За три недели я насобирав на вело-

сипед «ВМХ», сворованный в нерусском районе, и за полцены выкупил его у того же Ильи. Я пристегивал его у подвала соседнего здания, потому что не смог бы объяснить его происхождения маме.

Прошлой весной в Тель-Авиве случай свел меня с моими товарищами юности, воспоминания о которых давно вышли за пределы оперативной памяти. Сложно представить в настоящем людей, запечатленных на блеклом полароидном снимке четверть века назад. Все кажется, что они так и остались там, на средиземноморском острове, в своих нестареющих телах, босые и обветренные.

Мне не посчастливилось быть приглашенным на презентацию романа старого мастера. Сотый по счету и девяносто девятый толком не читанный, но продающийся по инерции все тем же читателям, которые десятилетиями ждут повторения чуда. Старик со сложнопроизносимой фамилией и приметам отчаянной важности на лице принимал поздравления, в том числе мои. Деваться от приличий некуда, если выбрал жизнь вне пещеры. Я тряс его мягкую руку и, как многие, наверное, поражался, что однажды, в прошлом веке, эта рука была проводником того первого романа, после которого стоило повторить путь Рэмбб. Но союзы, дача, дети, усиленное питание, вторая, третья жена, артрит – все это вынуждало руку елозить и дальше. Страшен не стыд, думал я, пока выговаривал – поразительная наблюдательность, поразительная, ни одного лишнего образа, все ружья разом, надо же, – а то, что он не глуп и сам знает, что водит рукой по глинистому дну колодца, беспощадно высохшему после первой повести.

– Спасибо, Боря, – он тянул на себя свою увлажненную, душистую, бабью ладонь, как будто берег инструмент для будущего труда.

– О чем вы задумались? – спросила меня обозреватель Женя, или не Женя, мы виделись раза три и однажды завтракали.

– О рукоблудии, – сказал я и глупо рассмеялся, но видимо, смех был заразительным, так как Женя-не-Женя подхватила, а опомнившись, прикрыла рот той рукой, в которой не держала за тонкую ножку фужер.

В эту минуту я вспомнил людей, на которых с завистью глядел в детстве, пока обворовывал их на мелочь, и в которых мечтал вырасти. Только в тринадцать так поверхностно можно было судить о чужом счастье. О мнимом успехе и довольстве им. Я пригляделся к себе теми глазами, бегающими, еще не прогоревшими. Что ж, я человек в костюме, смеюсь в кругу известных миру людей, веселю пускай и не редкой красоты, но все же красивую женщину в золотисто-чешуйчатом платье. И теми глазами я не вижу, что костюм этот мой – единственный для таких вот редких случаев. Что дама, если бы не пила, отдалась бы скорее старику-многотиражнику – хотя бы потому, что это надежней, и что самое страшное, я заблудился еще только на подступе к лесу и так и вожу рукой по дну колодца и не понимаю, вода это на пальцах, или только кажется, или просто грунт сырой...

По пути к лифтам, в том месте, где напротив стойки регистрации в прошлом веке, возможно, располагались телефонные автоматы, я прошел мимо полного низкорослого мужчины азиатской внешности с гладко выбритой головой. За ним семенил носильщик в форменной фуражке отеля.

– Султан! – позвал я, и он остановился, обернулся и без недоумения и прочих драматических выражений лица не узнал меня, о чем тут же сообщил:

– Простите, не узнал.

– Это я, Боря! Помнишь Кипр, девяносто пятый, Илью помнишь...

– Да, да... Кипр. Боря... – он неумело притворился, что вспомнил, кивнул и поспешил на выход.

За автоматической дверью его ждала черная машина с распахнутой заранее задней дверцей и флажками Узбекистана над передними фарами с азиатским прищуром.

Илью я увидел на будущий день, и в этот раз уже не удивлялся случаю. Встреча эта казалась мне закономерной. Выписавшись из гостиницы к обеду, предварительно еще раз поздравив большого, нет, крупного русского писателя за завтраком, я взял такси до автовокзала. Человек с одним костюмом в соседний город едет на автобусе. Если бы таксист повез меня в Иерусалим напрямик, к вечеру пришлось бы ковырять пальцем дно бумажника в поисках Жени-не-Жениного номера, записанного для меня вчера на вульгарной салфетке. Могла бы вбить в мой телефон, но бесплатное шампанское, как правило, будоражит образы, хранящиеся в файле «романтическое». Жила она теперь в Тель-Авиве, а после расточительной прогулки мне еще несколько дней надо было бы где-то есть до зарплатного дня.

Купив билет, пришлось купить и кофе по станционной цене. Следовало занять четверть часа до следующего отправления.

– Братишка, – окликнул меня полуголый человек со спины, – выручай.

Человек стоял и раскачивался. Как и четверть века назад, рубашки на нем не было. Кожа на плечах полопалась от бродячей жизни под солнцем. Нестриженные волосы спутались с бородой, срослись в гриву. Из треснутой губы торчал небольшой мерзкий розовый комок. Про губные грыжи я прежде не слышал.

– Выручай, мужик. Шекеля не хватает. Одного шекеля.

Орел на красной пупырчатой коже хоть и поблек, но парил все там же, несколько над сердцем. «Вернулся-таки в Израиль», – подумал я, ссыпал мелочи, как тогда в подъезде, и отошел от него, отмахивая от носа едкий запах аммиака. Из окна автобуса я наблюдал, как он бредет от человека к человеку в обреченном поиске сострадания. Дорога в Иерусалим оказалась долгой, мы застряли в тоннеле из-за аварии. Промчала скорая, другая, и пожарные. Я закрыл глаза и стал вспоминать дальше, как жил, вырослел, планировал и надеялся.

Сейчас, оглядываясь, я не могу вспомнить ничего о двух годах, проведенных в стенах кипрской школы, только то, что случалось во дворах и на улице, кроме единственного эпизода. Урок английского делился на грамматику и на еженедельный час креативного письма. Никаких заданных тем, изложений, сочинений. Никакого внимания к чистописанию. Без замечания «грязно» под последней строкой. В текстах, написанных в рамках креативного письма, грамматические ошибки не рассматривались. Таких вольностей в родной школе не было. Либертарианство какое-то, недоумевала мама, педагог с десятилетним стажем. Запомнился именно первый урок, первая неудача. «Необычайное происшествие, приключившееся со мной». Одинокое предложение во всю доску. Тонкие буквы, выведенные скрипучим маркером. Никаких дополнительных комментариев. Учитель откинулся в кресле и принялся читать Фаулза с заложенной страницы. Какое-то время держалась тишина, но скрипнул первый карандаш, другой, и вскоре заелозил лес опустившихся рук. До звонка стоял мирный гул. Гул работающего воображения.

Я долго и старательно описывал опушку, перечислял деревья, через которые я к ней пробирался. Что увидел на пути. Ручей, из которого зачерпнул ледяную воду ладонями и испил, и то, как свело зубы. Катарсисом послужила сцена «сретенья» с медвежонком. Я завидел его издали, на той самой опушке, с которой начал повествование. Она переливалась взволнованными крыльями лимонниц. Жужелицы прогуливались в траве, как ленивые мещане в воскресенье по единственной торговой улице в уездном городе Опушкине. И в центре лесного царства сидел на трухлявом пне-троне царевич-медвежонок и по-медвежьки брехал. Кульминация – моя сила воли. Я преодолел острое желание познакомиться и поиграть с дивным зверьком, поняв, что поблизости должна быть медведица, и это знание природы и холодное сердце – моя рассудительность заставили меня ретироваться и вернуться в избу живым.

В понедельник полковник раздал наши листки. Ф-фейл, то есть «два», и приписка – «ну и что?». К доске позвали мальчика Уильяма, сутулого и тощего, как борзая, с длинным вис-

лым носом, в который он прочел свою работу – лучшую по оценке учителя. Уильям бессвязно бредил о том, как по дороге из школы в автобусе познакомился с человеком, который по косвенным приметам, таким как чешуя и зеркальный глаз, показался ему необычным. Попутчик был инопланетным гостем и, как ни странно, безобидным. Он покатал Уильяма по межпланетному маршруту и даром открыл некоторые тайны мироздания. И все. Скупое на прилагательные и выводы повествование оказалось лучшим. После уроков я, пораженный, как мне казалось, вопиющей несправедливостью, был больше обычного рассеян и пропустил автобус. Я просмотрел, как распахнулись, подождали и схлопнулись обратно двери, и только несколько позже, глядя на противоположный дом, понял, что произошло. Домой я вернулся затемно. Мокрый, с выпущенной рубашкой и галстуком в руке. Я прошел шестнадцать километров. У нас не было машины, телефонов, родственников, друзей. Мы жили с мамой вдвоем, и она явно плакала, ожидая меня, как плачет только тот, кто понимает, что, возможно, остался на острове один. Гнев ее в тот вечер проиграл страху. Она вцепилась в меня, трепала по волосам и целовала без устали в макушку. Я попросил ее купить мне Джона Фаулза на английском. Она с недоумением кивнула и кинулась записывать имя в блокнот. Мне простили отказ от ужина. Я повалился и уснул, а когда проснулся, опередив будильник, лежал и разглядывал попугая, смотрящего на меня с подоконника, и все думал, еще со вчерашнего урока, вернувшись из сна прямоком в потрясение, что воображение мое заключено в тюрьму. А оно есть у меня! Честное слово, есть! Я тоже могу на Марс... Я тоже могу неожиданно и бессвязно и без выводов. Просто во мне прутья из полянок, лужаек, ручейков, лесов, полей и рек, из родной речи, из народных мудростей, из пользы, из сознательности, из ответственности. Нахуй все – думал я и смотрел то на ноги с новыми мозолями на большом пальце, то на зеленую птицу с оранжевым клювом. Нахуй... Пиджак висел на плечиках. Глаженная рубашка и брюки лежали стопкой на деревянном стуле. Начищенные ботинки смущенно стояли под ним носок к носку. Мама спала. Я вышел тихо, прихватив банан, и отправился на остановку Святого Николая.

Остановка называлась по церкви, нависавшей над ней надстроенной новой грубой кирпичной колокольней. Колокол бил ровно в восемь, после чего из-за поворота выезжал школьный автобус. Это ежедневное действие потеряло со временем смысл и обрело новую причинно-следственную связь. Расписание водителя казалось слишком пресным объяснением. Я представлял, что звон выманивает из небытия автобус, как манок дичь. И, уже сидя на своем предпоследнем ряду, я придумывал прочие возможные связи звуков и происшествий, чем убивал ленивый час пути по выученным наизусть пустым улицам.

Самый первый и самый короткий, как первая связь, рассказ был сочинен на остановке Святого Николая. Я помню, как он начинался: «Гречанка Андреа Дамьяну любила грека Андреаса Чартаса». Была еще одна запись, оставленная за полем. «Ее руки пахнут лимонной коркой». Я помню, как придумывал героиню. Она была старухой, обтянутой высушенной солнцем кожей. Морщин на ее высоком лбу было, как ступеней на лестнице из фильма Эйзенштейна. Она собирала лимоны в собственном садике за белым одноэтажным домом. Рассказ задумывался как просьба о прощении у вечности и моих героев, застрявших в ней.

В моей маленькой личной эмиграции дорога до школы оказалась главным испытанием. Дома ведь как было? Я выходил из лифта, здоровался с Федором взрослым рукопожатием, и мы шли до следующего дома, где под козырьком переминался и дул на варежки краснощекий Сережа Перекресток, если это была зима, или грыз яблоко, если весна. Мы говорили об одном и том же изо дня в день и, минуя стальные колосья монументального венка, не замечали, как уже выглядывал из переулка кровавый торец школы и пресекал разговорчики. В эмиграции школа посулила дальнюю дорогу. Дальнюю, незнакомую, а стало быть тревожную. Тревожность в детстве я ощущал животом, а не сердцем, и каждое утро бежал обратно домой и вбегал запыхавшийся, полусогнутый, не дождавшийся лифта. От двери до церкви Святого Николая лежала прямая ровная дорога, разделявшая городской некрополь на старые и новые

участки. Мне тогда казалось, что город был странным образом слоеный. Если считать от моря вверх, то выходило, что первый слой были русские переселенцы, затем развалились себе мертвые греки и наверху суетились греки живые. Обратный порядок был более лестным. Мы, эмигранты, стояли на костях островитян, а греки живые держали нас, как слоны однажды держали земной поднос, пока не родился Джордано Бруно и не испортил такую милую и понятную картину мира с обозримыми краями. В первый день мама пожалела меня и выдала один фунт на такси – автобус я упустил. На второй она выдала фунт и промолчала. На третий мои попытки отыскать в ее выражении жалость были так же ничтожны, как доводы в пользу плоской земли после открытия Бруно. Тяжелый и холодный фунт упал в мою вспотевшую ладонь.

– Вставай завтра хоть в пять и успеешь все до выхода, – сухо сказала мама.

Я знал, что дороги домой больше нет, и на будущий день, когда я поднялся не в пять, а как обычно в семь, я сглотнул и под ее бессердечное «хорошего дня» побрел к остановке, по-наполеоновски поглаживая живот. Когда до пункта А было ровно столько же, сколько и до пункта Б, я встал, как лошадь у переправы. Возвращаться было поздно, да и некуда. Там, за плечами, осталась мать и отчий дом, пускай и съемный. Отступать нельзя. Да я и не успел бы. Я держался за живот и думал – вот оно, самое страшное, что может случиться с человеком. Заберите свободу, деньги, мечты, только поставьте больше общественных туалетов! Заклинаю вас, взрослые!

Стрекотали кладбищенские сверчки. В неопределенной дали орал кот и мешал кому-то жить. Я убедился, что клетчатый носовой платок лежит сложенный вчетверо на своем месте, во внутреннем кармане пиджака, и с разбегу прыгнул, подтянулся и перемахнул через известковый забор. Мне было стыдно и обидно перед четой стариков с разными фамилиями. Андреа Дамьяну умерла в 1990-м, в 80 лет, сосчитал я, а Андреас Чартас опередил ее на два года.

Отряхивая черные рукава от белокаменной пыли, я бежал под раскачивающийся язык колокола Святого Николая, и думал про тяжелый медный фунт и про то счастье, которое он может дать, – такси. Впрыгнув в двери на третьем бое, я уже больше в дом за деньгами не возвращался. Не кладбищем единым. Я стал уверенней смотреть по сторонам, как пометивший чужую территорию кот, постепенно открывая в себе новые стороны – живучесть и находчивость. Тот рассказ я так и не дописал. Представил, как покойная убивалась по мужу год, другой, собирала лимоны на заднем дворе, пела старческим голосом задушевную греческую народную, да и отправилась следом. И зачем ей целая корзина лимонов? Я разглядывал безлюдные улицы и гадал – чаю одной столько не выпить. Неужто для продажи? Вот же неугомонная в свои восемьдесят.

Вернувшись домой к обеду в одну из суббот, два года после нашего переезда, я увидел отца. Он сидел на берегу и, так как никогда не курил, занимал руки песком. Черпал его ладонью-экскаватором и просеивал сквозь пальцы.

– Ты что, куришь? – спросил он.

Врать толку не было. Он видел. Не знаю, сколько он так просидел, – по-московски, в брюках и рубашке, но он точно видел, как Султан и я, чередуясь, докуривали за старшим товарищем. Отец осмотрел Илью. Его взгляд скользнул по татуировке, но не задержался. Он хмыкнул, но руку ребятам подал.

– Курю, – ответил я и вцепился в него. Обнял и не хотел отпускать.

Заканчивался май. Море было спокойным который день. Мы брели по пирсу, с которого я только что нырял с друзьями. Мне следовало догадаться, отчего последнее время у мамы было приподнятое настроение. А она ведь знала, понял я. Отцов приезд объяснял ее пение за гладкой, неожиданный морковный торт, встретивший меня запиской «Не съешь меня всего», и ее внезапную щедрость. «Выспись», – предложила она в четверг вечером. И «возьми такси завтра». В пятницу я впервые с тех пор, как научился обходиться кладбищем, подъехал к воротам школы на черном мерседесе – других машин в такси не было. Я не знал, что вчера был

мой последний день в нелюбимой школе, в нелюбимом классе с ненавистным медленным вентилятором под потолком.

– Пап, а ты дома был? – сообразил я.

– Нет еще. Отведешь? – он улыбался и явно разглядывал меня с удовольствием. За два года разлуки я стал с него ростом, правда сутулился сильно и был более худощавым и обветренным, чем положено быть хорошему мальчику из хорошей семьи. У двери отец остановился и замешкался. Я не был особенно догадливым для своих четырнадцати, и когда мне выдали пять фунтов и предложили погулять и потратиться, я не понял, что впервые за два года мог оказаться лишним.

Вечером они пили «Тисби» за фунт двадцать девять и просили меня их фотографировать на мой полароид. Они смеялись, дурачились, высовывали языки. Стекло звенело, кубики льда трескались в белом вине, солнце заходило за гряды волнорезов, вечер становился розовым, а мама ласковой. На следующий день она улетела домой. А мы вылетели следом, но только в Ниццу.

III

Международный молодежный центр города Грасс

В полдень в воскресенье, когда ударил колокол собора Богоматери и еще после, минутную, пока не угомонились переполошенные птицы, я поискал в себе смелость и, не отыскав ее, все же шагнул навстречу женщине с ценой. Она стояла на углу переулочка и площади и не курила. Оглушенные голуби, подавившие все прочие городские звуки крыльеплесканием, были мне поддержкой. Они защищали громким шорохом мой сокровенный вопрос от прохожих ушей. Впервые я заговаривал с женщиной о любви открыто, без кокетства, намеков и двусмысленности.

– Сколько? – спросил я по-французски.

Я изучал ее, сидя на скамье на противоположной стороне Плас Массена, перед тем как встать и подойти к ней. Мне нужно было знать наверняка, что она та, за кого я ее принимаю. А то ведь спросишь: «Сколько?» у бесплатной женщины, – ну вдруг зазевалась и стоит просто так в короткой юбке зеленой кожи, в колготках, порванных на коленях. Нет! Эта верно проститутка. Вне сомнений. Колени розоваты, ими явно поутру натирали пол. Это ей еще повезло, что Франция не признает ковров (по крайней мере я их в домах не встречал), ни настенных, никаких. А то стёсы были бы кровавыми. Зато сразу было бы ясно – проститутка. И не гадал бы две сигареты кряду, она или не она, на трехлепестковой фиалке, всматриваясь и щурясь через площадь с двумя фонтанами.

– Сколько?

У нее добродушное лицо. Курносое и безыдейное. Мысль не блуждает где-то там еще. Она здесь даже не селась.

– Сто франков, – у нее приятный голос, грудной, мягкий, не пропитый, не прокуренный.

Я люблю людей, которые знают себе цену, – так говорил дедушка. Он водил меня на первомайскую демонстрацию однажды и дважды в мавзолей. В свой выходной. Это мое преимущество перед французами. Что делали вы в детстве по выходным? Да хотя бы ты, женщина с угла площади Массена и безымянного переулочка. Ходила ты с дедушкой по выходным смотреть на труп? То-то! Дед любил людей, знавших себе цену. А я нет. И уверенных – нет. И убежденных – нет. Сто франков – это четыре большие пиццы с ветчиной, или десять пачек «Житан», или половина от двухсот, а двести – это сколько мне присылали родители на месяц. Не курить две недели я бы не смог. Нет, наверное, смог бы. Но не ценой трех-четырех сокращений предстательной железы. Двести затяжек против двух выстрелов и еще полкапли... Но я не уйду. Меня интересует другое.

– Где? – я задаю второй вопрос.

Мне важно понимать, где происходит любовь, если ты бедный пятнадцатилетний бесквартирный.

– «Белград», – она указывает головой в сторону неприметного, врезанного между двух монументальных домов переулочка, и отворачивается от меня.

С видом опытного покупателя уверенным шагом я иду в переулок, и первый белесый обшарпанный особняк – отель «Белград». Буква «Д» в вывеске выпала и оставила после себя плесневелый след. Над крыльцом две золотые звезды (гостиница-двоечница), и под звездами старый серб с коровьими глазами – волхвообразный, крупный, начерченный плавными линиями, взъерошенный и преждевременно седой. Допортретный набросок человека. Я сразу догадался, что он серб. Он был похож на среднерусского безымянного мужика, помятого жизнью и пришедшего с восточно-европейской равнины к приморским Альпам. Здесь, в трехстах метрах от первой линии и трехстах франках от лучшей жизни, он стал работать в отеле. И все же серб. Только сербы назовут отель «Белградом». Только французы назовут салат с тунцом «Нисуаз».

Только итальянцы назовут тушеного зайца лигурийским. В выборе названий все народы более-менее одинаково тщеславны. Пожалуй, все, кроме евреев. Я не люблю обобщать, но прошлым летом меня вез таксист, и был он (и, видимо, остается) евреем. Мы ехали с Преображенки до Курской, и он разговаривал. Его звали Арон, и он казался мне сложно определяемым, то есть я не мог подобрать то самое прилагательное, которое пригвоздило бы его суть. Он сказал, что зовут его Арон, но имя это не слишком подходящее для Москвы. «Не слишком подходящее» красивое название здоровому страху получить пизды. «Генри», – представился он во второй раз. «Боря», – у меня запасного имени не было. Генри-Арон работал на трех работах и копил. Копил на мечту. Перед тем как остановить машину, он указал рукой вперед, а впереди, за изгибом кольца, должна была быть площадь «Красные ворота», если с ней не стряслось чего худого.

– Я взял в аренду подвал и уже скоро открою свой ресторан.

– Как будет называться? – чертова вежливость требовала показной заинтересованности и человеческого участия.

Из двухсот рублей, что у меня были утром, восемьдесят сейчас заберет Арон, и у меня останется на два пакета молдавского вина по шестьдесят каждый, – себе и девочке, с которой мы вот-вот встретимся у Курского и пойдем в сторону «Октябрьской» прогулочным летним шагом. Это около семи километров, и это несоизмеримо больше полутора тысяч миллилитров молодого молдавского.

– «У Генри», – отвечает он самодовольно, явно обожая себя будущего в это мгновение.

А я не отвечаю, но нахожу недостающее слово, которым его можно было бы описать, – «мудак».

– У вас есть свободные номера?

Серб отвлекается, он многожды моргает и отвечает на русском, с едва отличимым балканским акцентом. Бог его знает, как звучит балканский акцент, но это он.

– Есть. Самый простой сто франков.

А что, в такой дыре водится непростой? Какой-то сложный номер?

– Но я тебе не сдам, парень. Мне по закону нужен твой паспорт. – И сочувственно добавляет: – Тебе должно быть восемнадцать.

– А если не по закону?

– Нельзя. Мы не дома.

Вот-вот подойдет автобус. По воскресеньям он забирает русских детей из школы в Грассе и везет на службу в собор Святителя Николая Чудотворца, что на улице Николая Второго сразу за бульваром Царевич. Мало кто ездит. Чаще всего нас двое. Наташа и я. Автобус ждет нас у вокзала. В час он отправится обратно. Все, что мне нужно было узнать, я узнал. И теперь, думая, как мне скопить сотню франков и добыть фальшивый паспорт, я бегу к остановке, делая лишний крюк по параллельному с улицей Жан Медсан переулку. Вернись я так же, как пришел, бежать бы не пришлось. Но мне неловко идти мимо моей проститутки. Неловко быть несостоявшимся покупателем. Я бы все одно не стал ее... пускай и хочется, даже очень. Но не стал бы. Знать столько всего о болезнях от бабушки, мылить руки по сотни раз на дню – ну какая мне проститутка? Я изъем себя в ожидании мазка. Я буду ворочаться ночами, представлять, как экзотическая болезнь, занесенная в нее марсельским морячком с гогеновских берегов, пожрет мой пятнадцатилетний отросток. Как он посинеет, затем почернеет, как сойдет в могилу в маленьком хуевом гробике, и как бабушка будет плакать над игрушечным надгробием. «Мылом надо было, Борюшка, мылом». Она забила бы ее после, мою женщину с придороги, ссаными тряпками, но было бы поздно. Обесхуенный, я бы не знал, чем еще мне ненавидеть мир. Так что нет! Пожалуй, я откажу нам, мне, в удовольствии.

Допустим, я бы не покупал ее. Так зачем обратился? Хотелось поговорить о любви с женщиной. «Поговорил?» – спрашивал я себя на бегу. «Поговорил!» В узком просвете румяных крыш носятся чайки. Иная повиснет ненадолго, так, перевести дух, и тотчас пропадает из виду.

Переулок узок, и если б не птицы и не облака, небо было бы точно ручей, бегущий в тесном русле черепицы. В окнах – во многих, как выпяченная губа, – цветы. Стены домов их ярче. Оранжевые, розовые, голубые. На белые смотреть невозможно. Я еще только коплю на солнечные очки, а без них белые стены отпечатываются в глазах зелеными прямоугольниками. Звенят на параллельных улицах трамваи. Звенят велосипедные звонки, нагоняющие меня со спины. В одном распахнутом окне звонит телефон и трубку не берут. Окна, лужи, рельсы – все горит обеденным солнцем. И платаны. В ярком свете они голубые. И пар над клумбой – это асфальта пот. Я стараюсь запоминать все, что вижу, и, налетев на старика в шейном платке, кричу его тремор-ному леопардовому кулаку: «Пардон!», а сам про себя повторяю: «Голубой платан, голубой платан». Я помню книгу из родительской библиотеки с большими, во всю страницу, цветными фотокопиями – серия «Мировые шедевры». Я вспоминаю голубые платаны Ван Гога и то, как думал: «Ну не может быть», – и искал описание этого дерева в Большой советской энциклопедии, и убеждался в том, что Ван Гог ошибся. А сейчас, на лету, я понял, что нет, не ошибся Ван Гог. Просто я мудак. Такой же мудак, как таксист Арон, только маленький.

Сто франков! Вот сколько мне надо на гостиницу. Мне необходимы сто франков, документы и ее согласие – о ней после, она еще не знает меня, только видела мельком. Она французенка и, как будто быть французенкой ей мало, еще и парижанка, и учится в параллельном, только литература у нас совместная. «Голубой платан», – повторяю я раз за разом и добегаю до автобуса. Ожидаемо Наташа первая. Такие всегда всё успевают – обязательные и услужливые. Ждет, курит, уверенно говорит по-французски, как на втором родном, с сорокалетним водителем. Его зовут Франсуа, он родом из Авиньона, и все это нестерпимо скучно... Рабочий руля и педалей ей подмигивает и вроде бы как ухаживает. По-пролетарски, с частым морганием и шуточками про «у-ля-ля». Ему всего-то сорок, а ей целых пятнадцать, и она спелая, и она из-под Новосибирска. У нее голубые навывкате глаза, озорная улыбка (я получила двойку, папочка) и скромный церковный платочек поверх выющихся как стружка медных волос, и сейчас 1997 год, и еще почти все мыслимо и дозволено.

– Она – Моника Белуччи рюс, – обращается он ко мне и весь мелко дрожит и ерзает на водительском кресле.

Ну в одном он прав – она точно рюс. Рюс, белль и ортодокс.

Мы дружим. Наташа и я. Дружим, как дружат русские за границей. Как дружат два пескаря в аквариуме, наводненном рыбами пестрыми и разноцветными. Дружат из необходимости. К середине первого триместра я стал меньше проводить время с соотечественниками, сузив тоску по родине до Наташи. Я не хотел держаться за корни (оставьте это садовникам), за связи, за понимание друг друга с полуслова и за постоянное проговаривание знакомых между своими московских маршрутов. Не без придыхания, разумеется. Все эти разговоры цитатами из кинолент страшно опостытели. Недобрая половина бесед сводилась к «все у них не как у людей», а мне так не казалось. Все у них было как у людей – они все также беззаветно любили деньги, мечтали о сексе, покупали туалетную бумагу (три упаковки по цене двух) и гнали мысли о неотвратимой смерти.

Нарочитое пренебрежение русских детей детьми европейскими во дворике частной английской школы казалось мне банальным презрением буржуазии новой к буржуазии мелкой. Ну да – отчего не смотреть Валере Шерстову, мальчику из десятого, уничижительным взглядом на соседа по комнате Поля. Отец Поля всего-то руководитель чего-то там в Центробанке Франции. Куда Полю до Валериной русской любви к масштабу. Валера планировал купить прогулочный катер по завершении школы и больше, по-моему, не планировал ничего. А отец Поля однажды возьмет и помрет, так и не постигнув простоту воровства. Разве понял бы он, что можно было вот так просто взять и сприватизировать целый, к примеру, горно-обогательный комбинат. Какой-нибудь ЗАО «Бургундский Цветмет»? Потому Валера и хлопал Поля по плечу, по-старшебратски, как только хлопают в России, и советовал Полю мечтать шире

– мечтать о большом. Желание Поля объездить Европу автостопом казалось Валере мелковатым, как заводь, в которой его парусник сел бы на мель. Мне Валера казался муذاком, да и не казался, так и было, и с не давних пор, с середины осени, я его не демонстративно, нет, но избегал, а заодно всех прочих вращающихся вокруг него подвалерчиков, точно чайки вокруг самого раннего рыбака.

Наташа другая. Мы похожи. Не внешне, нет. Я лучше. Мы похожи семьями, похожи тем, кем мы были до девяносто первого года. Ее отец не был секретарем комсомольской организации. Старший сводный брат не догадался открыть банк и перепродавать населению иностранные кредиты под большой процент. Дядя ее не заведовал недрами, теми самими, на которые покушаются неприятели, но воруются все равно своими. Это, наверное, из патриотизма русские пиздят общее, – чтобы врагам ничего не досталось. Так доставайся же ты мне! Это не воровство – нет, это воровство превентивное и, стало быть, благое. Наташа была из цельной семьи, крепкой, работающей, старающейся просто не быть бедной, где две трети семейного бюджета тратились на оплату учебы единственного ребенка. Это обстоятельство нас сблизило. Хорошая Наташа. С веселыми глазами, широкими бедрами и крепкими икрами.

Город кончился. Мы двигались по ровной и скучной дороге, делящей пополам молодой лес из однообразных хвойных кустов. Их ветви тянулись вверх, а не наоборот, как следовало бы. Наташа спала. В церкви она плакала, я был в этом уверен. Она плачет на всякой воскресной службе. Я как-то спросил ее, что стряслось. Может, дома что? Но она не ответила и покачала миленькой головой из стороны в сторону. Однажды я видел, как такое движение проделывает корова, старающаяся согнать слепня с глаза. Должно быть, девочка добрая. Добрая как корова. Коровы ведь не бывают злыми? Я злых коров прежде не видал.

Она заговорила со мной в сентябре. Мы представлялись новой учительнице литературы, мадам Вижье, вставали, говорили, как нас зовут и откуда мы, и она каждому жала руку. До того дня я не жал женщине руку. Русские так не делают. Наташа сказала учительнице, что зовется Натали. Нет, не Наталья, а вот это пошленькое имя, отдающие сериалами о девятнадцатом веке. И что она, Натали, из Москву. Если Наташу можно съесть, то Натали придется кушать. Я тихо хохотнул. На перемене она показала себя смелой девочкой и, поманив меня указательным пальцем (а я растерялся и послушно приблизился), спросила: «Как ты узнал, что я не с Москвы?» Я улыбнулся и пожал ей руку: «Боря».

Автобус затормозил перед поворотом, и я успел рассмотреть семью французов. Под деревом они поставили стол. Два подростка, мальчики, несли из открытого багажника корзины, полные всего. (Полные яств – написал бы тот, кто знает мертвых слов поболее моего.) Я заметил над сырами батон салями, обязательный багет и зеленое горлышко винной бутылки. Ветер трепал черные вихрастые волосы мужчины лет этак сорока пяти. Его жена что-то смахивала со скатерти, возможно просыпанную соль, подгоняемую ветром. Одинокий разрезанный надвое помидор качался у края стола. Его вторая половинка перемальвалась в большом губастом рту француза. Еще я успел разглядеть, как солнце лезло нахрапом, нагло, сквозь густую крону и прорезалось тонкими лучами. Бледные диски ползали по скатерти, как какие-нибудь прожектора в ночном небе. Все четверо не походили на людей счастливых. Что-то тяжелое, даже тираническое померещилось мне в развалившейся на стуле фигуре папы, в суетливости его мелкокалиберной женщины и в послушании его детей. Семья служила ему с надрывом. А вдруг он их бьет и терзает? А соберется дождь? А польет? И раз польет, то польет не переставая – такова здешняя зима, – что тогда? Тогда они вернутся в коттедж, где в глиняных кадках по бокам двери – пальмы. Они войдут, он снимет ремень и с порога взметнет к небу руку (допустим, правую) с этим хлестким орудием, намотанным на кулак. Может, оттого они и гримасничали, а не веселились взаправду? А лес служил женщине и ее сыновьям отдушиной? А дом – их тюрьма?

Меня несло быстрее автобуса. Он плутал. Один раз водитель возвращался к кругу и, объехав его, поворачивал на новую необъезженную просеку. Дважды он останавливался на бензоколонках и шел к другим водителям автобусов со сложенной дорожной картой под мышкой. Наташа все так же спала. А я сидел за обеденным продольным столом и наблюдал за семьей из четырех человек. Я уже знал, как каждого зовут (жену – Луиз), чем болен старший сын (у него дислексия, как у шведского короля), на которую соседку дробит отец и как бережливо Луиз скручивает тюбик зубной пасты, не выбрасывая его преждевременно, а только после того, как заберет из него все. За мной водится с детства – представлять в подробностях не известных мне людей. Додумывать их жизнь. Говорить в уме их голосами. Ставить их в затруднительные положения, а иногда и в позы, и помогать им. Я мягкотелый божок. Сам ставлю подножку, сам и гипс кладу. В периоды представлений разворачивающегося во мне театра я ухожу подальше от самого себя и поглядываю, как мое неподвижное лицо устает в никуда и глаза подолгу не моргают.

В выветренном детстве я любил замирать, стоя на мысках перед окном. Мама после работы спала, не так, как сейчас спит Наташа, развалившись с разинутым ртом и подрагивающей бровью. Мама спала изящно. Она, тонкая и холодная, спала не шевелясь, держа руки поверх одеяла. Длинные худые пальцы были все в перстнях, аккуратных, с одним камнем, не более, все бабушкины и прабабушкины. У нее тонкий, но большой нос. Я тяну голову к плечу, чтобы перевернуть мир на девяносто градусов, и подолгу вглядываюсь в ее лицо, до тех пор, пока в сумерках не начинает мерещиться, что белая ее кожа – водная гладь, а римский нос – парус. Когда виденье становилось слишком уж живым и я мог различить волны и ловил доносящиеся голоса матросов, я встряхивал головой и быстро моргал, до тех пор, пока мир не становился знакомым, а маринистика – мамой Мариной. Налюбовавшись ею, я шел на мысках к окну и, подтянувшись на руках, смотрел на соседний дом. Он был одноподъездным, с лампой над козырьком, часто мигающей в ветренную погоду. Сыпал снег, редкий, и еще не скапливался на земле. Ритмично скрипели пустые качели. Голые деревья не дотягивались до нашего девятого, качались на уровне шестого в негодовании или недоумении. Однажды они были великанами. Десять лет назад нашего дома не было. А полвека назад земля под домом была деревней – по школе бродили страшилки о снесенном кладбище. Само собой древнем, чумном, цыганском и прочее. В доме напротив загорелось окно. В погасший двор вылилось немного желтого света. Я разглядел письменный стол, и... свет погас. Автобус остановился.

– Хорошего вечера, красotka, и сладких-сладких снов, – обращался к Наташе игривый водитель, а она толкала меня локтем в бок.

– Борька, у тебя слюна...

– Вежливый человек, сделал бы вид, что не заметил, – я вытер губу рукавом, а Наташа растерялась.

Я провожал ее до женского корпуса. Мужской пансион был на миссионерском отдалении от девочек. Тестостерон загоняют в клетки, подальше, то и верно. Это все устраивают взрослые мужчины, отцы и деды. Трясутся за дочерей и внушек. И все зря. Все равно мы придем и заберем их. А будете препятствовать – и жен заберем. Я «В мире животных» один, что ли, смотрел? Со дня на день заберу я, а после заберут у меня... Дорожка к корпусу поднималась, вилась и вырастала в ступени. И дернул же черт кого-то построить школу на склоне. Земля, что ли, здесь дешевле, чем на приморской равнине? Тропинка сужается, нас теснит акация в фиолетовом цвету, и к дверям общежития мы подходим, соприкасаясь плечами.

– Зайдешь? Я чай заварю.

Наташа глуповато улыбается, и виной тому ее неуверенность. Не пойду. Из вредности. Пускай до шести еще час и я могу находиться у нее в комнате, не нарушая правил. Но знаю наперед, как потечет этот вечер – киселем. Будет сладкий чай. Обязательный вздох по родине. Максимум голова ее ляжет на мое плечо. Дождь застучит. Она вытянет с полки фотоальбом,

втиснутый промеж жизни Арсеньева и записок охотника, и полетят томские фотопортреты. Вот в сто первый раз – слепой мальчик, ее большая первая любовь, потерявший пол-лица в результате несчастного случая на охоте. А вот и дядя Коля, старший брат ее папы, работавший в советской милиции и переродившийся в ясновидящего в 91-м году. И ведь не без его помощи, томского провидца и целителя дяди Коли, моя ласковая Наташа живет у подножья приморских Альп... На хуй вас всех. Я по-отечески треплю ее по плечу и бегу вниз по ступенькам. Мне легко, и мне похуй на дядю Колю и сладкий чай. Похуй на Наташины теплый живот и густые русые брови. Пахнет магнолия, шуршит в кустах дождь. Кланяются пальмы. Хвойный лес, уходящий далеко за школу, гаснет, как сцена. Мне пятнадцать. Все думают, что шестнадцать. А мне пятнадцать. Я красив. Волосы мои черные и взъерошенные, глаза зеленые, кожа белая (я презираю загар). Вешу я всего ничего. Ребра перебираются пальцами. Они проступают через майку. И у меня материн нос! Я красив. Красив, глуп и пуст. И мне похуй, что русские не говорят про мужчину «красивый»! Я говорю. Похуй, что не здороваются с женщинами за руку – я здороваюсь. Пусть кто-то еще, там, позади, остается – серьезным, хмурым, рассудительным, отважным, уважительным, щедрым, мудрым, благонадежным, сдержанным, проверенным, уверенным. Оставьте себе весь этот пиздопад военно-аграрных прилагательных. Оставьте их тем, кто говорит: «Жизнь такая штука...» Я красивый, иду по Грассу, пятнадцатилетний, и у меня в душе ни одного жизнеутверждающего прилагательного. И все же почему она плачет? Почему она плачет и ездит на службы? А что, если она больше и глубже, чем кажется? Что, если она открывается мне, как Петербург москвичу, только летней стороной?

– Привет! Привет! Салю! Как в городе?

У входа толкуются ребята. Совершенно разноцветные. Пойди найди две пары одинаковых джинсов! И Валера с тонкой пидорской сигаретой в мелких злых губах, и Поль со своей французской вывернутой губой. Высыпал почти весь корпус. Все, кроме соседа Эда. Все приветливые. Все меня любят! Все! И друзья, и не совсем. Меня не любить нельзя. Нелюбовь воспрещается. Бабушка любила, и вы все будете. Волка ноги кормят, а Бореньку бабушка. Так я хотел начать свое повествование, но забыл и начал с главного – с любви к безотказной женщине.

Темно. Дождь разошелся, как турист в Египте. Бьет по карнизу. В окно робко стучит пальмовый лист. Хороша непогода. В грозу ночь ранняя, а сон глубок.

Голова Эдварда свешивается со второго этажа кровати, как будто она Бэтменова.

– Спросил? – Эдвард знал, зачем я ездил.

– Спросил, – я закуриваю, лежа в кровати, а пальцем ноги дотягиваюсь и толкаю окно. Синий дым, похожий на неоформленного джина, тянется в створку.

– Почему?

– Сто за бабу, сто за гостиницу.

– Восемь пицц! Да ни за что... И без любви, – и его голова уползает обратно, будто это голова Человека-паука.

– Хорошая? – спрашивает он.

– Чего? – я стреляю окурком, промазываю, он отскакивает от окна, искрит и падает на кафельный пол.

Я матерюсь и раскутываюсь. Ноги тотчас леденеют.

– Женщина хорошая?

– Хорошая. Такая, знаешь? Вступила в схватку со старостью и, конечно, проигрывает, но упирается.

– Хорошая, – Эдвард отворачивается к стене, театрально (в два оборота) закутывается в широкое одеяло, как какой-нибудь древний грек, и, высвободив одну руку, дает ей свеситься со второго этажа, как уже какой-нибудь христианский мученик, и засыпает.

Эдвард свистит на выдохе. Дождь бегаёт по подтопленной дорожке, опоясывающей корпус. Цветы в вазах перед входом развалились, как пьяные на скамейке, выгнулись неесте-

ственно, свесились и мотают головами. А я не сплю. Мне одиноко. Мне хочется и к французенке, и к сегодняшней проститутке, и даже к Наташе. Вот накрыться бы сейчас пиздой, большой как одеяло, оттаять и выспаться.

IV Арабы

Еще вчера билась за жизнь осень. Вы же помните? Голубые платаны там, горящие окна, магнолия и что-то еще... К ночи ноябрь отошел.

– На кого ты нас оставил, ноябрь?

– На декабрь, мудацье, – и без оглядки и без сожаления бросил.

Лило с вечера, не переставая. Тощие стены отсырели. Сточная труба сбоку от окна захлебывалась и тряслась. Наружу вырвался первый кашель – мой, не Эдварда. Настал день резиновых тапочек и вязаных носков, привезенных из дома. Сосед возился с масляным обогревателем. Он нагрелся и, не успев отопить нашу девятиметровую комнату, выбивал пробки. Закапал кран, как будто выжидал зиму, сдался и заболел. По дорожке, ведущей к школе, разбежались ручьи. Наперегонки неслись листья.

– Ставлю на желтый, до поворота.

Эдвард смотрел в окно через мое плечо.

– Я на шишку! По франку?

– Шишки из другой лиги. Так не честно, – и Эд (так его звал только я) по рукам со мной не ударил.

Я посмотрел еще немного, как дождь неравномерно поливает дорогу. Облачной лейкой водили то вперед, то назад. Водяные шторы мигрировали на глазах. Мне уже бывало тоскливо, однажды в Черемушках и дважды в Чертанове, но тогда я был маленьким и грусть проходила вместе с осадками. Французенка! Ее зовут Аурелия, и я думаю о ней вот уже который месяц. Но она, как та шишечка в ручье, она не из моей лиги. За ней таскаются и старшеклассники, и спортсмены в джемперах с логотипом школы, и Валера в их числе, и какой-то еще херов Энтони – сын члена палаты лордов и прямой потомок Мэри Шелли, и прочие убудки. Куда мне до нее, она росла в Париже, и сам Наполеон Москву однажды сжег...

Эдвард разлил чай по кружкам и бросил в мою кубик сахара. Тот поднял волну. Подброешил каплю и успокоился. Эдвард поморщился. Сахар в чае казался ему чем-то плебейским, чем-то гадким, но он не докучал и не объяснял, как правильно. Во всей школе он был самым близким моим другом. Так близко подбирался только Федор. Но оставим его. Он в Москве, все в той же нашей 47-й школе, в которой я его бросил.

Эдвард гений. Гений в самом что ни на есть прямом смысле. Араб, ливанец, асексуал, шахматист, математик, музыкант, языковед, поэт, подросток. Этому всему пятнадцать лет, как мне. У него недостижимый IQ, о нем писали в газетах, он учится, не покидая комнаты, просто потому что не хочет ходить до класса какие-то триста шагов. Домашнее задание приношу в обед я, а он до моего возвращения лежит и играет на электрогитаре. Я не слышу, настолько ли он хорош, как хвалится. От его черного «Ибанеза» тянется шнур к колонке, а из колонки поднимается другой, ведущий к его огромным шлемоподобным наушникам... Я, когда после уроков лежу и глазею на шпалы досок, поддерживающие его матрац, слышу только редкий глухой бой медиатора по струне – пилит соляк, наверное.

Эдвард асексуален. Он не бегаёт как собака с высунувшимся языком в поиске поспешной любви. Он как будто от природы сыт. Даже нет, он не был от природы голоден. Я ему завидовал по-доброму. Он объявил всякой пизде бойкот и не страдал от уныния. Слезы ревности не душили его. Пожар сердца не беспокоил сон. Он не вступал в рукопашный бой с одиночеством. Родительские двести франков он тратил по-умному – он их не тратил. Складывал. Ему нравилось само знание, что налички у него больше, чем у многих. Валера не в счет.

Эдвард – коренастый, низкорослый мальчик. Широкий в плечах. Нос его, пожалуй, даже больше моего, но он другой. Его нос библейский. Назвать его крючковатым равнялось бы бого-

хульству. Это ближневосточный крюк, с опорными ноздрями – пойди у него носом кровь, понадобились бы пни, а не вата. Но он при мне не кровил. Перед выходом он дергает меня за рюкзак и останавливает.

– Забыл тебе сказать. Мою партию... защиту. Вчера опубликовали во «Французском ревью». Даже денег дадут.

– Чувак, – и мы встречаемся кулачками.

Я захопываю дверь, и с той стороны доносится глухой звук струн. Родителям моим он нравится. Они знают его с моих слов. И не надо им знать, что мои «отлично» по математике и физике добываются Эдвардом в сортире. Он демонстративно решает мою домашку, пока гадит, потому что такое простое и бесполезное дело, как урок, не должно отвлекать нас от важного. Важное – это треп дождливого дня и лежание по разным полкам.

Свое «важное» я еще не нашел, а Эдвард нашел. Когда я возвращался с занятий, он запаховал свой ливанский халат, слезал с кровати и садился за наш сдвоенный стол. Щелкал выключатель лампочки, и он, как гадалка с картами, принимался возить бумажки по столу, пытаюсь восстановить хронологию им написанного. Были там и клочки туалетной бумаги, и салфетки, и выданные из учебников страницы, и даже исписанная сигаретная пачка. Он писал затяжной белый стих на арабском – сатиру, как он мне объяснял. Называлась она «На фисташке в ад и обратно» и повествовала о горе-пророке, который обращал вино в воду, за что его били на свадьбах. Он читал сперва на арабском, по четыре строфы, затем на ходу переводил себя же на английский. Эдвард говорил, что на французском в его голове получается лучше, но щадил меня и мои возможности, зная, что мой IQ болтается в нижних пределах нормы и что за три месяца жалким французским я так и не овладел.

Стоял туман
И мой стоял
Так мы стояли
В непогоду оба.

И мы ржали, а проржавшись, я совал ему свою домашку. Он понимающе кивал и лез в шкафчик за туалетной бумагой.

Гениям – гениево, а мне в класс. Небо висело тусклым, и ему помогли два неоновых плафона. Теперь зимы другие. Это не когда отец откапывает во дворе машину, это когда днем горит голубоватый свет. Я ненавидел оба варианта. Я много чего ненавидел. Не сказать, чтобы я жаловал три других времени года. Жарко – холодно, светло – темно, какая разница? Вся погода замкнута внутри настроения. И хорошо бывает только тогда, когда внутреннее совпадает с внешним. Было утро грязного понедельника (так я звал дни недели, потворствуя православной традиции). Раз есть чистый четверг, пускай понедельник будет грязным, а вторник просто хуевым. Неустойчивые выражения придумывались лучше всего на физике. Вторник – день-ублюдок. Самый подлый и ничтожный из семи гномов-дней. Уже прошел целый понедельник, и ты уже измучился жить, а до пятницы еще как до поминок по Белоснежке. Вторнику не даст никто. Уверен, что Гитлер, Нерон и мать Тереза родились во вторник. Но я отвлекся... А что, если моим «важным» будет отвлекаться? Развлекаться – будет «важным» Валеры. А отвлекаться – моим. Отвлечение... пожалуй, да!

Первая пара – компьютерный класс. Пришлый инженер из академгородка София Антиполис рассказывал, что такое электронная почта, чем она в перспективе упростит жизнь и сэкономит время. Зачем мне упрощать жизнь? Проще не бывает, думал я и смотрел на полную Софию Скаримбас, гречанку с острова Парос. И зачем беречь время? Время – это все, что у меня есть. Мой друг, сосед по парте Натан Эрнст, был вдумчив и напряжен. Мозг его тужился, а глаза он сощурил так сильно, что веснушки у глаз исчезли в новообразованных морщинах.

Пока я зарегистрировал свой первый ящик, простой, как сон козы, – фамилия и число, Натан пробовал сотни и регистрировал десятки – туризм. фр, секс. фр, секс-2.фр, и бубнил, что сволочи уже все нормальное разобрали. Задрезжал железный голос звонка, заскрипели ножки стульев и захлопал в ладони Натан.

– Есть, – он записывал названия в блокнот, – есть!

На перемене он стрельнул сигарету (свой он вечно забывал в общежитии) и сообщил что жопа. фр – его! Курить можно было только на улице, и в ливень мы набивались под единственный желтый навес с красной надписью «Киоск». Надо сказать, что в девяносто седьмом во Франции не курили только мертвецы.

София Скаримбас стояла бок о бок со мной и хвастала подругам мобильным телефоном. Первым в нашей школе. Ее мягкие руки пахли сливочным маслом. Хотелось припасть к ее надежному плечу и спать безмятежным сном. Меня она недолюбливала и приблизительно с октября только кивала мне, если уж жизнь загоняла нас в один школьный коридор и заставляла идущими навстречу друг другу. У нее были невиданные соски. Бледно-розовые и гладкие. Похожие на срез докторской колбасы, и сколько бы я ни водил по ним языком, ничего из них не выступало. Дышала тяжело. О бедро мое терлась, а сосковая гладь не менялась. И как она собирается кормить детей? Откуда потечет? Столько всего в мире неясного... Она была однажды в нашей комнате. Эдвард уполз в наушниках с гитарой на свой бельэтаж, а нас перенесло с моей койки на пол. Разделась она только по пояс, и всякие мои попытки расстегнуть на ней джинсы пресекали ее упитанные пальцы-стражи. Они брали мои руки и перебрасывали их с фронта в тыл, на крашенные волосы с черными корнями. «Ну, – думал я, – и что мне делать с твоими волосами?» Надо, наверное, было водить по ним, или гладить, или косички вить... Она целовалась как будто с утра не ела, как будто мой язык поддастся и она заглотит его.

Битый час пустых облизываний ротовой полости, а иногда и щек меня измотал, точно осла, идущего за подвешенной морковкой. Эрекция, сдавленная джинсами, не давала ни встать, не переменить позу. Он самый вытянулся вдоль правой ляжки и впечатался в штанину. Ногой было не пошевелить. «Перочинный хуй», – подумал я и запомнил новое неустойчивое выражение. Я ворочал в ее рту языком и думал уже об одном: образуются ли тромбы в затекшей ноге? Но я не мог первым прервать страдание. Я воспитанный – девочек обижать нельзя. И я терпел и делал вид, что поцелуи без продолжения – тоже здорово. Конечно! Я же люблю лизать винную пробку и не пить... Или радоваться чужому выигрышу в лотерею... Спас комендантский час. Провыла сирена. Первая. Скоро начнется обход, и все должны быть на местах. Иначе выговор. София Скаримбас из тех, кто боится выговоров. Ее никогда не били, и я рад, что выговор числится в списке ее страхов. Когда она надевала свитер, страстно отброшенный на мой письменный стол, я заметил, что подмышки ее не бриты. Видать, очередное утверждение... Мои, наоборот, бриты, и это не утверждение, нет, и не позиция. Это не бунт и не русофобия. Это личное. Мне волосы подмышками нужны, как Софии Скаримбас ебля. Не очень. В дверях она все не могла проститься и все запрокидывала голову, не как припадочная, нет, а как будто мы расстаемся на век. Какое счастье, какое облегчение закрыть за лишним человеком дверь. Это выдох. Это праздник прерванной боли. Я допил вино, что она принесла, спрятал пустую бутылку под кровать, почистил зубы и открыл окно. Бывает, что охранник обращает внимание на запах, но редко, только когда он не в духе, ну или в доебистом духе. Но так как пьет весь коридор, ничего мне особенно не грозит.

– Пил? – спросит он по-французски.

– Нон, – отвечу я на его неродном. Он алжирец. С хуя белому французу идти охранником в школу.

– Салям, – крикнет ему Эдвард со второго этажа, и тот кивнет и пойдет к следующим комнатам.

После трех-четырех сигарет, после черного чая, когда стояк сдулся и напоминал одну только мансарду от сложившегося дома (парового отопления в комнатах не было), я ворочался, и незнакомая боль не давала спать.

– Эд, спишь?

– Не.

– Эд, у тебя ведь отец врач?

– Да. Глазной хирург.

– У меня яйца болят... Это рак?

– Как болят?

– Дотронуться не могу. И тяжелые. Как не мои.

– Покажешь?

Я замешкался, а он вдруг захохотал, да так, что нам постучали в стену. Я вылез из-под одеяла и подтянулся до его кровати. Эдвард держал фонарик в левой и Эсхила в мягкой обложке в правой, а ламповый свет, повернутый к его лицу, бросал зловещую тень носа на стену.

– Это синие яйца, – сказал он со знанием.

– Что, прости?

– Синие яйца... Бывает такое. Когда долго почти-почти, и нет. Это пройдет. Если...

– Если что?

– Если подрочить.

Я нашел впотьмах свитер и ключи.

– Эд?

– А?

– Журнал есть какой?

– У тебя с моими не выйдет. Там все больше шахматы. Правда, в ферзях что-то есть...

Я еще постоял, качаясь на мысках. Он вернулся к чтению, и его настенная тень слилась с общей темнотой комнаты.

– Эд?

– А?

– Я твои тапочки возьму? Пол холодный.

– Возьми, – он перелистнул страницу, – только не задрочи.

Владельцам телефонов со всем порно мира в кармане не понять, нет, каково это – звывать к воображению в общественном туалете с десятью кабинками на двести человек. Сначала ищешь более-менее не засранную. Находишь. Поднимаешь глаза, а стена изрисована монахинями-католичками, поедающими друг у друга жопы. Естественно, располагает, но как-то грешно, что ли. Находишь другую – подходящую, в этой только надпись «рэдиоход» и приписка «Патрик, твою Элен ебет весь этаж» – вполне безгрешно. Но все равно есть одно «но». Против кабинок с унитазами десять кабинок душевых, и в одной до сих пор какая-то сволочь моется и поет. Плохо поет. Я и под хорошее пение не горазд дрочить, а у этого все ноты мимо. Сажусь и утыкаюсь лбом в дверь. Телефонов-то не было, вот и водишь пальцем по стене, а стена не монитор. Вообще ни хуя не происходит. Водишь и ждешь, пока какой-то мудила допоет «Бай-сикл» группы «Квин». Он бы с таким слухом что-нибудь попроще выбрал, ей-богу.

Представлять Софию Скаримбас нету сил. Как ее в воображении ни поворачивай, волосы из подмышки колышутся, как водоросли в беспокойной воде. Наташу? Ну нет. Она такая хорошая, что даже в церкви плачет. Я бы представил недавнюю проститутку и ее струганные колени, но что фантазировать зазря – нету у меня ни документов, ни сотни франков. Мне не нравилась эта затея. Я люблю покой комнаты, Эдвард все же, бывает, покидает ее, когда уходит мыться. Но боль – она не даст выспаться, а утро наступит своим грязным сапогом уже совсем скоро. Аурелия! Да! Конечно да! Девочка, которую любят все, и возможно даже Валера. И Эдвард бы

ее любил, не будь он равнодушным. Ее верхняя губа подминает нижнюю, тонкую, и припухлая она ровно под переносицей, как у винтажных кукол. Аурелия грызет карандаш и лижет графитовое острие, перед тем как записать в тетрадь. Стоило вспомнить карандаш, как доселе съевшийся, как теща под кондиционером, повел себя, как глупый пес, радостно вытянув шею в окно – а? кто? где? карандаш? какой карандаш? Эдвард был прав. Столько семени я не видел даже «В мире животных». Мне даже показалось, что я услышал, как хрустнула предстательная железа. Чего уж там карандаш... Залило и рэдиохэд, и Патрика с несчастной Элен. А я знал, что надписи в туалете не врут...

– Легче? – спросил Эд.

Фонарик не горел, и я думал, он спит.

– Легче.

Боли и правда не было. Ее рукой сняло.

– Тапочки целы?

Мы еще немного поржали, и он засопел. Провалился и я следом. А в последующие дни, когда София приходила к нашей двери, на стук отвечал Эд и убедительно врал, что меня нет. Мы переглядывались и беззвучно хихикали. Я разглядывал арабскую вязь его произведения, а он глухим басом отвечал: «Извини, Софья, я голый» – на ее вопрос: «Можно я его у вас подожду?» Третьего пришествия не было. София была неплохой. Она не была дурой. И все бы ничего, но вот просто не нравилась. Бывает же. Думал, нравится, ан нет. Да и синих яиц и той одинокой ночи в кабинке я ей не смогу простить.

Второй парой была алгебра, и на уроке присутствовала одна только моя субтильная оболочка. Я тоже считал, но не все эти fx на доске. Я считал деньги. За уроки я не переживал, – Эдвард ходил в туалет исправно, по часам. Я шел в мыслях по Ницце, спотыкаясь о денежные подножки на каждом шагу. Прогулку я начал с угла площади Массена. Вчерашнюю проститутку я представил памятником, точкой отсчета. А ведь и правда, было бы куда честней если б монументы возводили в честь шлюх. Ну сколько можно ставить всех этих генералов и изобретателей. И односложные таблички «От жителей, с благодарностью». Да дерни любого за рукав и спроси: «Что, благодарен ты Мари Кюри, братец?» – а он: «Как пить дать, благодарен. Век ее не забуду. Мари нашу Кюри. Вот и памятник какой ей поставили. Белый! Он и пахнет хорошо! Потому что разбили цветник с флоксами под ее каменными ногами!» Да ну перестаньте... Искренним был бы памятник женщине с протертыми коленями. Какой-нибудь Женевьеве от горожан. И пережившие ее горожане осторожно смахивали бы слезинку благодарности так, чтобы жены не замечали. А если заметят, то можно сделать вид, что ветерок занес соринку, и втереть женевьевскую слезинку в переносицу. Она ведь роняла ваши капли на паркет? Роняла! Вот и вы будьте людьми, поставьте ей памятник на площади Массена и роняйте в ее память слезы. Так я лениво думаю о блядах и градостроительстве и едва не влетаю в столб, которого здесь и нет, потому что я в классе, сижу у большого окна, вожу ручкой в тетради, и вместо формул получается то перевернутая бабочка Аурелииных губ, то хуй на ангельских крылышках. Обогнув столб, я замечаю, что чередующаяся черная и белая плитка площади закончилась, и нахожу себя на Английской набережной. Она заполнена великолепными людьми. Богатыми и прелестными до бесстыдства. Вы же помните, что я красив? Я признался вам, пока брел к себе от Наташиного подъезда. Так вот – я красив. И я не испытываю чрезвычайного стеснения среди этих людей. Так, некоторую неловкость, которую испытывает неимущий в богатом доме. Семьсот франков! Мне необходимы семьсот франков. Не так сильно, как восемьсот франков. Но сильно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.